

ВЛАДИЛЕН  
МАШКОВЦЕВ

Урал-  
БАТЮШКА



Время  
красного дракона



Урал-батюшка

Владилен Машковцев

# **Время красного дракона**

«ВЕЧЕ»

1991

**Машковцев В. И.**

Время красного дракона / В. И. Машковцев — «ВЕЧЕ»,  
1991 — (Урал-бабушка)

ISBN 978-5-4484-8592-3

Роман «Время красного дракона» рассказывает о трагической судьбе магнитогорцев в годы сталинских репрессий. Наряду с живым описанием быта и исторических событий роману присущи захватывающий фантастический сюжет и острая сатира. Трагикомические ситуации, возникающие в уральском соцгороде, в котором красному террору противостоят выходки нечистой силы, продолжают традиции, заложенные Ф. Сологубом и М. Булгаковым.

ISBN 978-5-4484-8592-3

© Машковцев В. И., 1991

© ВЕЧЕ, 1991

## Содержание

Цветь первая	6
Цветь вторая	13
Цветь третья	18
Цветь четвертая	23
Цветь пятая	29
Цветь шестая	36
Цветь седьмая	45
Цветь восьмая	50
Цветь девятая	58
Цветь десятая	62
Цветь одиннадцатая	69
Цветь двенадцатая	78
Цветь тринадцатая	90
Конец ознакомительного фрагмента.	91

# **Владилен Машковцев**

## **Время красного дракона**

© Машковцев В.И., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Цветь первая

На базарном бугре, в толкучке, говорили с утра об одном: из городского морга исчез таинственно труп старушки. Загадочное происшествие связывали и с другим, еще более фантастичным явлением: лунной ночью в облаках многие горожане видели летающую в корыте девушку. И люди звонили в редакцию газеты, в НКВД, дежурному по горкому партии, в местную пожарную команду.

В редакции у телефона сидел поэт Василий Макаров. Он спокойно и терпеливо разъяснял обеспокоенным гражданам:

– Мертвую бабку из морга могли похитить хулиганы-шутники. Летающую в корыте девушку я видел сам, но не удивился. В эпоху техники и науки не так уж трудно ночью, при помощи кинопроектора, изобразить на облаках любую картинку. Так что не волнуйтесь, товарищи. Мы разберемся, проанализируем сигналы и факты, ответим в печати с партийной серьезностью, с научным обоснованием.

Сознательные граждане, члены партии и комсомольцы, бригадмилыцы и служащие госучреждений соглашались с авторитетными пояснениями. Но темное, несознательное большинство: землекопы, спецпереселенцы, мещане, бывшие графы, ссыльные профессора, царские повара, махновцы, толпы баб и мужиков, вербованный люд – не обращались за разъяснениями ни в редакцию газеты, ни в горком партии, ни в НКВД. Нормальный, обыкновенный человек говорит о происшествиях с друзьями, соседями, знакомыми – в очередях за хлебом и постным маслом, у водопроводных колонок, на базаре. Поэтому и витали в воздухе возгласы и шепотки:

– В стране голод, люди мрут тыщами. Не зазря труп старухи из моргу украли. Изрубят мелко труп сечкой в корытце и пустят на пирожки с мясом.

– Бают, бабка колдуньей была?

– Брехня! Старуху запытали клещами в подвале НКВД. Энти ж чекисты и выкрали труп из ледника, штоб концы в воду.

– А кто ж в корыте летал ночью?

– Надежда Константиновна, Крупская.

– Господа, будьте осторожнее. В толпе шныряют переодетые офицеры госбезопасности, фискалы, сексоты.

– Но ить кто-то ж порхал ночью по небу в корыте...

– Мабуть, шпионка японская.

– Нда, шпиенов развелось – тьма!

– А враги народа што вытворяют? Шахты взрывают, хлеб жгут, паровозы опрокидывают. Всю страну разорили!

Базар как зрелище и действо всегда колоритнее, острее и выше любого театра. На базарной толкучке за какой-нибудь час можно увидеть сотни сюжетов, коллизий, судебных, характеров. И все это движется, кружится, говорливо гудит, цветет одеяниями и ликами, ужасает страхолюдными рожами, контрастами нищеты и роскоши, подвигает к состраданию, высекает искры идей.

Базар прекрасен не токмо многообразием, но и свободой. Здесь люди не признают политических и экономических постулатов, не испытывают никакого уважения к вождям и руководителям, нарушают законы. Люди что-то покупают и продают, ищут редковинку, слоняются без дела, обманывают и крадут, проклинают местную власть, ковыряются в ливере, трясут тряпками, пригодными в лучшем случае для чучел. И нелепицы базара вечны, а загадки – умопомрачительны и непостижимы.

Где, боже, армячный, задрипанный мужичонка взял подшипники от английского танка? И кто же их купит? Цыган предлагает портрет Льва Троцкого в окладе старинной иконы. Блед-

ная дама в шляпе, явно из бараков, где живут ссыльные, тщится обменять янтарную брошь на кулек с горохом. Бабка продает ведро крупного ячеистого кокса, будто кокс у нее в огороде растет – вместо картошки. У деда с бородой Маркса – дюжина тапочек, подошвы которых выкроены из прорезиновых приводных ремней. На рогоже лежит куча радиодеталей, умельцу можно собрать из них космический телескоп. А как соблазнительно блестят сковородки, отлитые из поршней. Известь и огненная охра в кулях. Гайки на прилавке, как финики. Напильники и сверла – в избытке. Кровати сварены из водопроводных труб, покрыты краской голубой, увенчаны бронзовыми шишками. Старуха козу на базар притащила. Мальчишки водой холодной торгуют, кричат:

– Семечки каленые, огурцы соленые, холодная вода! Приходите, пейте воду, господа!

Мордастый дядька бритвы точит, предлагает смесь таинственную для выведения пятен, басит на всю толкучку:

– Есть такая хипаста!

У него же и морская свинка есть, которая билетики из ящичка вынимает. А в билетах все судьбы предсказаны, богатство и счастье наобещано, любовь и дальняя дорога, дом казенный. На жердяном заборе возле дощатой уборной висят ковры с лебедями-уродцами. И полинялый лозунг над входом в пивнушку: «Комсомольскую домну – досрочно!» Чудак, по прозвищу Трубочист, ходит в шляпе-цилиндре, как буржуй. А рядом с ним нищий, похожий на Владимира Ильича Ленина. На одной ноге у оборванца – лапоть, на другой – новая галоша. Но по облику, по лысине – вождь мирового пролетариата.

Фроська Меркульева на базарном бугре потряхивала перед толпой голубыми шелковыми рейтузами с крупными кружевными оборками. Женские панталоны были так велики, что их можно было свободно натянуть на водовозную бочку. Но изделие поражало изяществом швов и отделкой, заграничной печаткой, тонким ароматом духов. Фроська выменяла рейтузы за четыре ковши пшена в бараке, где жили царские повара, работающие землекопами на строительстве коксохима.

– Панталоны из гардероба императрицы. Новенькие, парижской фирмы, – доверительно пояснили Фроське.

Из каждой штанины голубых панталонов могла получиться модная юбка. Но шелк оказался девице тонким и на свет – неприлично прозрачным. Да и душа рвалась на базар: продать – купить – перепродать, получить навар. Синеглазая, золотистоволосая Фроська лучилась радостно озорством, юным здоровьем. И в свои пятнадцать лет выглядела она оформившейся девицей, невестой. Не было отбою от ухажеров и поклонников. И в городе знали ее почти все, так как выступала она часто с пением частушек под балалайку. Пела и приплясывала Фроська по вечерам с дощатых эстрад, под руководством комсомола, но числилась элементом несознательным, не пролетарским – из казачьей семьи. И уж бабка у Фроськи – вообще сплошной позор, известная знахарка.

– Ты бы отрекалась от бабки-то, ушла бы из дому. Мы тебе место в бараке выделим, в комсомол тебя примем! – улашал девчонку секретарь горкома комсомола Лева Рудницкий.

Но Фроська рассмеялась, показала ему кукиш. Охрана у Фроськи была надежной. Ее всегда сопровождал рослый, молчаливый Антоша Телегин. Вот и сейчас на базарном бугре он стоял рядом. Верным телохранителем Фроськи был и Гриша Коровин. Но вчера они поссорились. Гриша возненавидел девчонку. И понять его можно было. Фроськину бабку на днях арестовали, забили до смерти в милиции. А похорон не было. Тело бабкино загадочно исчезло из морга. Однако Фроська не уронила и слезинки, не поминала бабку свою горем.

– Ох и стерва ты, Фроська! – возмутился Гриша Коровин. Фроська влепила Коровину пощечину:

– Пшел вон, дурак! Кто тебе сказал, будто моя бабка умерла? Моя бабка – колдунья. А колдуньи не умирают.



Антоха Телегин размышлял о стычке Фроси и Гришки, но понять ничего не мог. Что же случилось с бабушкой Фроси? Умерла ведь старуха, труп в морг отправили. Нет никаких сомнений. Доктор из больницы справку о смерти подписью и печатью заверил. А Фроська веселая, будто ничего не произошло. Шуточками базар одаривает. Мальчишкам подмигивает. Семечки пощелкивает беспечно. С Трубочистом-чудаком картинно раскланялась. Нищему вождю мирового пролетариата подала гривенник, позволила трусы императрицы понюхать задаром.

Шумел, колыхался базар. Солнечно медовилась Фроська, плечами подергивала, приплясывала, звенела:

– Подходи, налетай! Панталоны из гардеропу царицы. Ни разу не надеваны. Пахнут хранцузским декалоном!

Мимо Фроськи прошел американец Майкл. Тюремный водовоз Ахмет въехал с телегой на вершину бугра. Доктор Функ рассматривал лежащие на фанерном ящике книги. Расконвоированный еврей, портной Штырцкобер покупал какие-то пуговицы. Преподавательница института Жулешкова продавала лифчик. Пацан Гераська Ермошкин улизнул от сестры своей Груньки, крутился возле продавца арбузов с намерением воровским. Ясно было, что украдет он бахчевое лакомство.

Антоха Телегин всматривался пристально с бугра в хаос толпы... Чувал он что-то непонятное. Зашныряли в толкучке оперы-сыщики, переодетые энкавэдэшники, появились бригадильцы – Махнев, Разенков, Шмель. Из-за кустов сверкнули штыки солдат-охранников гейнемановского концлагеря. Вольные спецпереселенцы из банды Махно, сосланные к Магнитной горе, заволновались. Их легко было отличить по островерхим папахам, вышитым украинским сорочкам, хохлацкому говору.

– Никак облава? – дернул Фроську за подол сарафана Антоха Телегин.

– Не бойсь! – подмигнула она.

Но Антоха Телегин побаивался. О прошлый год осенью они с Фроськой и Гришкой Коровиным подожгли степь по суховейному ветру. И сгорели тогда лесосклады строителей Магнитки. Виновников не нашли, не разоблачили. Однако вдруг дознались, ищут, арест грядет?

– Не будет облавы. Энто начальство высокоперое на базар прикатило. Ну и потому кружатся вокруг мильтоны, – буркнула Фроська, продолжая потряхивать демонстративно своим экзотическим товаром.

Базарная толпа расступилась, пропуская к бугру важных руководителей. В центре группы шел неторопливо и колченого Серго Орджоникидзе. Рядом с ним – секретарь горкома партии Ломинадзе, директор металлургического завода Завенягин, начальник стройки Валериус, второй партийный секретарь Берман. А чуть позади – председатель исполкома Гапанович, начальник милиции Придорогин, его заместители – Порошин и Пушкин, лейтенант госбезопасности Груздев и прокурор Соронин. В почетной свите были комсомольский вожак Лева Рудницкий, партийные инструктора – Полина Чаромская и Партина Ухватова, герои стройки – Женя Майков, Хабибулла Галиуллин, Витька Калмыков, Андрей Сулимов, поэты – Василий Макаров, Михаил Люгарин, Борис Ручьев...

Фроська всех знала и видела не единожды, потому нисколько не боялась, не смущалась. Орджоникидзе остановился возле бабки с ведром кокса:

– Сколько просишь? Какова цена?

– Бери за рупь! – поджала губы старушенция.

– А за полтинник уступишь?

– Побойся бога, сударь. Пошто старую забижаешь?

Завенягин сунул руки в карманы светлого плаща, сгорбился виновато:

– Тащат, нет управы.



– Не стащила я, а насобирала у рельсов, – возразила бабка. Орджоникидзе подошел к деду с корзиной, из которой рвался и повизгивал розовый шустрый поросенок.

– Какой чудный свиненок! Сколько стоит? – тронул нарком поросенка пальцем.

Все сразу заулыбались, захихикали. Серго похлопал деда по плечу:

– Продай. Сколько заплатить?

– С вас, товарищ Серго, и копейки не возьму. Примите в подарок, не побрезгуйте. Мы – народ не жадный, – степенно проговорил дед.

– Спасибо, старик. Лучше уж продай своего свиненка. Деньги тебе, чай, пригодятся. Небось дети есть и внуки?

– У меня сынок на домне горновым. И внуки есть, как положено. Да вот с одежкой плохо. И обуви нет.

– Ничего, дед. Не падай духом. Страна наша в заграницы хлеб продает, чтобы купить металл, станки. Вот построим завод окончательно, будем прокат продавать. Людей накормим, оденем.

– Мы народ терпеливый, выдюжим, абы не обманули.

К наркому протиснулся через толпу американец Майкл:

– Товарищ Серго, у меня жалоба на НКВД. Не отпускают меня в Америку. Хоть ложись и помирай, как русские говорят.

– А как вы к нам попали? Вы специалист?

– Нет, я турист, путешественник. Приехал на Урал, влюбился, женился, принял гражданство ваше. Но с женой мы разошлись. Теперь не могу выбраться. Дурак, как русские говорят.

– Разберитесь! – ткнул нарком в грудь начальника НКВД Придорогина, который подавал своим подчиненным какие-то знаки.

Едва Орджоникидзе отвернулся, как бригадмилыцы схватили Майкла под руки, уволокли в толпу. Арестовали превентивно работники милиции портного Штырцкобера и нищего, похожего на Ленина, дабы нарком не увидел, что у него на одной ноге была новая галоша, а на другой – обтрепанный лапоть. Для местного руководства день был тяжелым. Орджоникидзе направился неожиданно к рыжей торговке – Фроське. Она приветливо поклонилась, но продолжала потряхивать голубыми панталонами и выкрикивать:

– Кому трусы императрицы? Ни разу не надеваны. Можнучи понюхать.

Начальник милиции Придорогин скорчил за спиной наркома угрожающую рожу и погрозил Фроське своим костлявым, коричневым кулаком. Но она сделала вид, будто ничего не заметила. Секретарь горкома партии Ломинадзе решил завершить ситуацию шутейно:

– Чем, девушка, докажешь, что панталоны принадлежали императрице?

Фроська нисколько не растерялась:

– Вензеля царские на рейтузах вышиты. И свидетели есть, у кого куплены. Вы ж царскую свиту к нам сослали на сознательное трудовое перевоспитание. Вот у них мы и отоварились. И салфетки лесторанные у меня с царскими вензелями имеются...

– Очень любопытно! – согласился секретарь горкома. Завенягин не уступил в претензии на ерничество:

– А почему полагаешь, душа моя, что рейтузы ни разу не надеваны?

– А вы понюхайте, господа хорошие. Только даром я нюхать не даю. За каждый понюх – двадцать копеек. Всю жизнь будете потом восторгаться. Для членов профсоюза и ударников социалистического соревнования – скидка на пять копеек.

Орджоникидзе пошарил в карманах френча, но монету не нашел, обратился к Завенягину:

– Авраамий, дай займы двадцать копеек.

У директора металлургического завода денег не оказалось. Напрасно обшаривал свои карманы и секретарь горкома партии Ломинадзе. Наркома выручил услужливо бригадмилец

Шмель – заведующий вошебойкой имени Розы Люксембург. Он и подал наркому столь необходимую монетку. И оцепенели окружающие, затихли, не зная – как реагировать? Серго сдвинул фуражку на затылок, пригладил усы, бросил легонько монетку в ладошку Фроськи и подтянул голубые женские панталоны к своему крупному угреватому носу.

– Я воздержусь, однако, – отвернулся брезгливо Ломинадзе.

– А я Кобе расскажу, повеселю его. Мол, мы с Бесо трусы императрицы под Магнитной горой нюхали.

Из окружения никто, кроме Завенягина, не знал, что Кобой звали они промеж собой Сталина, а Бесо – Ломинадзе. Начальник НКВД Придорогин уши наострил, заразмышлял:

– Кто такой Коба? Надо навести справку у Ягоды. А Бесо, значит, кличка Ломинадзе. Ягода дал указание не сводить с него глаз ни днем, ни ночью.

Телефоны секретаря горкома партии прослушивались даже тогда, когда он говорил с Москвой, с работниками ЦК ВКП(б). Домработница у Ломинадзе была осведомительницей НКВД, секретаршу тоже завербовали. Следили и за шофером Ломинадзе. Подсылали провокаторов, вскрывали письма, рылись в ящиках стола. Недавно с помощью бригадмилца Разенкова удалось скопировать ключ от горкомовского сейфа. Ломинадзе вроде бы не замечал слежки...

Орджоникидзе обнюхивал трусы, посмеивался, оглядывая добродушно базарную толпу:

– Ух, голова закружилась! Но подтверждаю: панталоны действительно принадлежали императрице.

Нарком говорил, как Сталин, с акцентом, размеренно, без внешней суетливости. И грубоватость приближала его к народу, сборищу на толкучке. Прокурор Соронин, однако, оценил наркома критически:

– Не очень серьезно ведет себя. Трусы женские обнюхивает, хотя убедительного доказательства, что их не примеряли, не носили... Да еще и фиглярствует политически. Надо про-сигнализировать. Посоветуюсь я с Придорогиным. Напишем вдвоем в Москву. Ну, не докладную, разумеется. А как бы спросим, что делать в таких ситуациях? Как оценивать все то?

Нарком глянул пристально на Антоху Телегина:

– А ты, молодой человек, учишься или уже работаешь?

– Ни, мы не комсомольцы. Мы не любим коммунизму. Мы из казаков. Нас не берут на курсы. Нам одна путя – на грабарку, в землекопы. Али грузчиками, – запереминался с ноги на ногу Антоха Телегин.

– Так вступай в комсомол. Не отставай от жизни. Авраамий, запиши его на курсы.

– А кем ты хочешь стать? – спросил у парня Завенягин.

– Мы бы с Гришкой Коровиным согласились на домну, аль на мартен, где потеплее...

– Приходи завтра в отдел кадров, я дам указание, – отметил что-то в блокноте директор завода.

Ломинадзе начал разговор с улыбочивой Фроськой Меркульевой:

– А ты бы, девушка, что выбрала? Не век же торчать на базаре.

– Пошла бы я, товарищ начальник, работать в буфет, в столовую.

– Почему же в буфет?

– Так ить можнучи там и кусок масла, и каральку колбасы домой стащить, – откровенно призналась девица.

Серго Орджоникидзе засмеялся как-то булькающе. Прокурор Соронин и начальник милиции Придорогин переглянулись многозначительно. Но Завенягин поддержал наркома:

– Да, каменеет в кабинетах мы. Совсем чувство юмора утратили. Девчонка ведь шутит, озорует.

Начальственная процессия двинулась к северному сходу с базарного бугра, в сторону, где чернели силуэты домен с подбоченными гигантскими трубами, где изрыгал огни металлургический завод.

- Я сгною тебя в подвале! – процедил сквозь зубы на ухо Фроське начальник милиции.
- За што? – удивилась невинно девица.
- За трусы императрицы! – прошипел Придорогин уходя.

Серго Орджоникидзе попрыгивал неуклюже по наклонной тропе, говорил Завенягину:

– Потребно, Авраамий, поднимать авторитет, роль героя труда, специалиста. Представь к награде орденами Галиуллина, Калмыкова. Я легковую машину выделяю для премии. Кому рекомендуешь отдать? Назови лучшего начальника цеха. А может, наградим сталевара Павла Елькина? Все-таки он первым выплавил сталь на мартене. Забыли мы о нем.

– Я бы премировал автомашиной инженера-прокатчика, Голубицкого.

– Будет по-твоему, Авраамий. Считаю, что у твоего Голубицкого уже есть автомобиль, – заключил нарком.

И не знали ни Серго Орджоникидзе, ни Завенягин, ни Ломинадзе, что автомобиль принесет смерть Голубицкому. Подарок окажется гибельным. Но не бывает и не может быть провидцев среди партийных работников, руководителей. Какой с них спрос? Они о светлом будущем думают, о коммунизме. Киров с трибуны объявил, что коммунизм построят через десять-пятнадцать лет. Не так уж много и ждать осталось.

На сходе с бугра начальственной процессии пришлось остановиться. Дорогу перекрывала медленно ползущая с работы колонна арестантов из концлагеря Гейнемана. Серго Орджоникидзе хмуро всматривался в бледные, изможденные лики заключенных, их отрепья и струпья. Один оборванец с ястребиным носом закричал:

– Эй, Аржаникизя! Ирод усатый! Штоб ты сдох! Не уйти тебе от нашего проклятия!

– Кто он такой? В чем я провинился перед ним? – приподнял брови нарком.

Придорогин выхватил из желтой обтрепанной кобуры револьвер, подскочил к ээку, ударил его рукояткой по голове. Арестант залился струями крови, но на Придорогина внимания не обратил, продолжал вопить:

– Проклятый Аржаникизя! Штоб ты сдох! Кровопивец!

– Я не знаю его. Впервые вижу, – развел ручищами Орджоникидзе. Заместитель начальника милиции Пушкин увидел рядом с конвоиром Гейнемана, поманил его пальцем. Гейнеман подбежал испуганно, представился:

– Начальник исправительно-трудовой колонии Гейнеман! Орджоникидзе, видимо, не расслышал фамилии или не запомнил ее от гневотряса:

– Слушай, как тебя... Почему кричит человек твой? Кто он такой?

– Товарищ нарком, не обращайтесь на него внимания. Это контра из терских казаков, – взял снова под козырек Гейнеман.

– Из терских? – потемнел мрачно лицом Орджоникидзе, что-то вспоминая об акции по уничтожению пяти тысяч терских казаков.

В этот момент взгляд наркома высветил в колонне заключенных другое лицо, знакомое. Посаженный якобы за вредительство инженер Боголюбов шел в паре с терским казаком. Боголюбов – начальник магнитогорского рудника.

У Орджоникидзе задрожал подбородок:

– Почему он в концлагере? Мы же договорились с Ягодой, Крыленко. Я твое письмо, Авраамий, показал Кобе и Молотову. Письмо, в котором ты просил освободить Боголюбова. Вопрос давно решен. Почему он в тюрьме?

– Бумаги на освобождение не было, товарищ нарком, – объяснил Гейнеман.

– Какой бумаги, скотина? Отпусти немедленно! Я тебе башку отверну! – вскипел Серго Орджоникидзе.

– Не могу! – вытянулся по-военному Гейнеман. – Я подчинен своему ведомству, инструкциям, законам.

Решительный тон Гейнемана охладил наркома. Серго Орджоникидзе понял, что начальник исправительно-трудовой колонии не боится его, а вытягивается в струнку скорее для показу. Придорогин с помощью часовых рассек колонну, освободил дорогу. Нарком первым шагнул в проход, ворча на Гейнемана:

– Бумаги на освобождение нет... Морда жидовская!

К вечеру Гейнеман обнаружил, однако, что документы на освобождение из заключения Бориса Петровича Боголюбова пришли давно, зарегистрированы месяц тому назад. Гейнеман отпустил Боголюбова к его женушке Татьяне, которая бедствовала в землянке. Квартира и все вещи у вредителя Боголюбова были изъяты при аресте. Вернуть что-то было невозможно. Все растащили молодцы Придорогина, даже посуду и полотенца. Золотое колечко с бирюзой досталось жене начальника милиции. Крупные вещи продали как бы на закрытом аукционе – для работников прокуратуры, горкома партии и милиции. Обитый бархатом диван купил прокурор Соронин, кровать с бронзовыми куполками и периной – у Пушкина, хромовые сапоги взял бригадмилец Шмель, посуду и полотенца – Разенков. Бригадмилец питался мелочами, обедками.

Гейнеман был на аукционе, но ничего не взял, побрезговал. Купил только библиотечку, все книги – за три рубля. В том числе – Эсхила, Еврипида, Софокла, Геродота, Плиния-младшего, Аристофана, Плутарха...

– Все ваши книжки у меня, Борис Петрович. Когда устроитесь, заходите. Я вам их верну. За остальное ваше добро я не в ответе, – пожал руку Боголюбову Гейнеман, провожая его за ворота концлагеря.

Гейнеман боялся, что начальство узнает о бумаге на освобождение Боголюбова, пролежавшей в папке без внимания больше месяца. Но все обошлось. Авраамий Павлович Завенягин поселил Боголюбова с одуревшей от радости его женой и ребенком в своем коттедже на Березках. Прокурор Соронин возмущался этим поступком:

– Выпустили вредителя из тюрьмы, помиловали. А директор завода поселяет врага народа в своем особняке. Надо присмотреться к этому Завенягину. И покрупнее его личности оказывались троцкистами, шпионами, заговорщиками.

## Цветь вторая

*«Отче Наш, сущий на небесах, да святится имя Твое... За то, что они пролили кровь пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того... Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания»,* – читал Порошин строки, выведенные старательно юной рукой на листочке из школьной тетради.

Начинать следствие по этой «антисоветской листовке», разыскивать виновных не хотелось. Мелочь какая-то. Да и дураку видно, что в листовке всего-навсего выписки из Евангелия. Но тощая картонная папка с предписанием о расследовании лежала на столе. И заместителю начальника Магнитогорского НКВД Порошину Аркадию Ивановичу нужно было решить: кому поручить предварительное следствие, розыск.

Но Порошин после командировки никак не мог сосредоточить внимание на тексте листовки и на том, как спихнуть быстрее дело, возникшее по доносу осведомителей Шмеля, Разенкова и Лещинской. Возможно, мешало чрезвычайное происшествие: в морге исчезло тело старухи, пропал труп. Поистине фантасмагория! Умершая бабка – это ведь не ящик с мясными консервами или другими продуктами, кои могли похитить воры или голодные первостроители Магнитки. И в юридической практике кражи трупов встречаются крайне редко. Исчезновение из морга гражданки, скончавшейся в возрасте 63 лет, не обостряло бы внимание, если бы не два обстоятельства...

Во-первых, бабка Меркульева Евдокия Николаевна умерла не в своей избе, а в подвале милиции, после допроса. Допрашивал арестованную сержант Матафонов, скорый на побои и грубость. Если честно, он и поколотил бабку за угрозы. А теперь вот звонят – прокурор Соронин, секретарь горкома партии Ломинадзе и даже сам Завенягин. Мол, говорят, вы там старух начали убивать? И слухи по городу нехорошие, компрометируют НКВД. По улице пройти невозможно спокойно. Дурацкие вопросы задают, усмеваются. В горкомовской столовой интеллигенция упражняется в злословии.

Второе обстоятельство было для Порошина не менее значительно: Евдокия Николаевна Меркульева была в казачьей станице известной знахаркой, как бы колдуньей. Вероятно, она владела гипнозом, знала много целебных трав. Люди ехали к ней со всей страны. Старуха излечивала язву желудка, болезни печени и почек, даже – падучую. Ни один врач в мире не брался за лечение эпилепсии, а она больных исцеляла. Правда, с падучей к ней попадали в основном дети. Лечить взрослых от эпилепсии бабка не бралась. Все медицинские комиссии отказывали старухе в праве заниматься знахарством и лечить людей. Бабка платила штрафы, отсиживалась не единожды в тюрьме, но снова принималась за свое.

Работники НКВД подсылали несколько раз к Меркульевой сексотов, добровольных помощников, молодых преподавателей, студентов-комсомольцев. Под видом заболевших они обращались к бабке, обещая хорошо заплатить. Позднее, в случае успеха, их можно было бы использовать как свидетелей на суде. Да и для фельетонистов в газету материал достать таким способом казалось заманчиво и перспективно. А как же? Приходит к мошеннице-знахарке абсолютно здоровый человек, жалуется для юмору на здоровье, получает настойку из трав, платит деньги... Бабкино зелье направляется на экспертизу, а там – чистая вода, а может – не чистая, а с микробами, заразная!

Однако ни одна из задуманных операций по разоблачению и дискредитации знахарки не завершилась успехом. Меркульева каким-то образом распознавала провокаторов, не запускала даже во двор дома, пугала – фокусами превращения то в кошку, то в собаку, то в летучую мышь. Обернется с черной шалью вокруг левой руки – и нет бабки, исчезла! А на ее месте черная кошка разъяренно мяучит. Крутанется ведьма вокруг вскинутой правой руки – вихрь возникает вроде смерча небольшого, а из воронки пылевой то сорока, то ворона, то летучая мышь

выпорхнет. Ах, эти доморощенные иллюзионисты! Добро, если бы только фокусы показывали. Но они здоровье людей подрывают. Почти все, кого подсылали к Меркульевой, мучились после по нескольку дней поносом. В последний раз сформировали бригаду грамотную, надежную: журналистка Олимпова, преподавательница института Жулешкова, студентка Лещинская, доктор Функ. Доктор проверил здоровье у Олимповой, Жулешковой и Лещинской, взял анализы и благословил их с интересом на эксперимент. Сам Функ на прием к бабке не пошел. Вернулись отважные разведчицы через два часа с резами в животе, сильнейшим, учащенным поносом. К сожалению, с научными выводами доктор Функ не торопился. Идею распыления яда в воздухе он отрицал, поэтому знахарку пока невозможно было привлечь по статье за вредительство. И в НКВД, и в горкоме партии были недовольны врачом Функом. Но мнения и там существовали разные. Ломинадзе не одобрял преследование знахарки.

К ведьме приходили лечиться тайком и большие люди. Бывали у знахарки председатель исполкома Гапанович, директор завода Завенягин, начальник стройки Валериус, красавица комсомолочка из газеты Людмила Татьяничева. Некоторые приходили, возможно, из любопытства. Другие – по долгу службы, в интересах науки. Доктор Функ даже подружился с колдуньей. Бабка знала много старинных казачьих песен, по этой причине былинную сказительницу навещали поэты – Макаров, Ручьев, Люгарин...

Работникам НКВД все было известно: из руководителей трижды приезжали к ведьме в одной машине Ломинадзе и Завенягин. В дружбе между собой они не были, в одну машину никогда в других случаях не садились. Старуха была арестована на законном основании, не без причин. А они просили освободить знахарку-преступницу. И каким образом такой крупный руководитель, как Авраамий Павлович Завенягин, проведаль об аресте маленькой старушонки? У него ведь на плечах металлургический завод, рудник, город вместе с трамвайными кишками, бараками, вошебойками, поэтами, вонючими уборными и стремлением построить социализм.

Порошин знал Завенягина еще тогда, когда жил в Москве, был вхож через отца – профессора медицины в самые высокие круги общества, руководства страны. В Москве же встречался он на даче Серго Орджоникидзе и с нервным, вспыльчивым Ломинадзе.

– Ты мне понравился сразу, Аркаша! – говорил Завенягин юнцу Порошину.

– Интеллигент, белоручка! – насмехался грубовато, но добродушно Виссарион Ломинадзе.

Но Менжинский и Ягода доверили Аркадию Порошину на Лубянке новый отдел. Да вот отец-профессор был неожиданно арестован. Попал в опалу и Аркадий. В результате – новое назначение, ссылка к Магнитной горе. На должность заместителя начальника милиции. Порошин прекрасно понимал, что жизнь и карьера рухнули. Его невеста Клара уже нашла другого. Оставалось одно – затаиться, чтобы уцелеть. В Магнитогорске его приняли холодно, косились на франтоватую кожаную куртку черного хрома, на модный заграничный галстук с изображениями дракончиков, блестящие сапоги, запах шик-одеколона, голубую рубашку.

\* \* \*

Начальник НКВД Придорогин вошел шумно, отбросив дверь пинком, потер ладонью свой сабельный шрам на лице:

– Меня вызвали в Челябинск. Останешься за начальника, Порошин. Как у тебя дела, Аркаша, движутся?

– Какие дела?

– С антисоветской листовкой. С похищением трупа. И сигнал о вредительстве Голубицкого не расследован.

– Бумажку с выдержками из Библии следует, по-моему, выбросить.

– Ты с ума сошел, Аркаша? Да ведь наши же сексоты, эти вонючки, Шмель, Разенков, и на нас с тобой донос намалюют. Будто мы пособники и укрыватели контры. Опасайся этих гнид-осведомителей. И уничтожай их, так сказать, периодически, для профилактики. Не будь чистоплюем.

– Но ведь никакой антисоветчины в бумажке нет. Там цитаты из Евангелия.

– Ты можешь сие доказать, Порошин?

– И доказывать не стану. У меня память хорошая. Выдержки из «Откровения» Иоанна Богослова, глава шестнадцатая.

– Но выдержки, Аркаша, со смыслом, с намеком. Любому понятно, что контра изображает революцию, товарища Сталина. Как там сказано? «Они пролили кровь святых и пророков... престол зверя... и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Это ж, Порошин, как бы наиточнейший портрет нашей эпохи. Ась? Усек!

– Не хочется, Александр Николаевич, раздувать из мухи слона. Почерк детский. Написано, скорее всего, девочкой, школьницей.

– Почему полагаешь, будто прокламацию нацарапала девочка?

– Я знаю основы графологии, ну и чутье.

– Ладно, Порошин. Передай дело о листовке Матафонову. А сам займись этой чертовой бабкой. Прокурор подозревает, что мы ее прикончили и закопали. Но ведь не было этого. Стукнул ее сгоряча сержант пару раз. Ну, объявим ему выговор, если без причины бил. А старушенция сама концы отдала. Если бы нам потребно было уничтожить бабку, мы бы оформили приговор через решение тройки. Подозрения в отношении нас глупые, зряшные. Но кто мог стащить из морга труп? Голова идет кругом. Ну, бывай! Я поехал. И чуть не забыл: если в городе появится московская скульпторша Вера Мухина, организуй оперативное наблюдение. Есть указание, сверху. Прощевай!

\* \* \*

Конопатый детина Матафонов нарочито кашлянул, стукнул легонько в дверь кабинета:

– Разрешите войти, товарищ начальник? Здравсьте! Прибыл по вашему приказанию!

– Здравствуйте. Присядьте, сержант. И не зовите меня начальником. Просто – Аркадий Иванович.

– Нам ить как прикажут, – смущенно прятал свои большие красные руки сержант.

– По указанию Придорогина я поручаю вам, товарищ Матафонов, дело об антисоветской листовке.

– Слушаюсь, товарищ начальник Аркадий Ваныч! – гаркнул сержант, вскочив со стула.

– Не кричите, пожалуйста, сержант. Присядьте. Вы же не в лесу. Зачем кричать? И не смущайтесь без причин. Возьмите папочку с документами. Здесь, собственно, нет ничего, кроме сигнала от осведомителей. Но докладная студентки Лещинской умна, ее предположения верны. Начните расследование со школы. Покажите бумажку учителям. Почерк детский без попыток изменения. Написала, наверно, девочка. Возраст примерно 14–15 лет. Учится хорошо, примерна, одета опрятно, цвет волос – золотистый, худенькая, синеглаза. Взгляд на незнакомца – озорной. И не из рабочих бараков она, а из казачьей станицы. Антисоветчицу сию можно найти за два-три дня.

– Слушаюсь, товарищ нач... Аркадий Ваныч! А как вы проведали, што глаза у девицы синие, што она рыжая, не из рабочих бараков, ну и прочее?

– Все очень просто, Матафонов. Я не Шерлок Холмс, но умею мыслить логически. Правда, предположение о том, что девочка худенькая, синеглазая и золотистоволосая, вытекают из графологических формул. У худеньких девочек и буквы худенькие, изящные. Синеглазые стремятся к наклону в написании. Золотистоволосые радость передают в графике. Для



тебя, сержант, это сложновато пока. Но посмотри, пожалуйста, на листок школьной тетрадки. Таких тетрадей нет в продаже лет восемь-девять. Лощеная бумага с голубоватым отливом, разлиновка необычного размера. Это же роскошь. Времена золотого нэпа. У бумажки устойчивый запах кедра. Сундуки кедровые стоят дорого, в них моль не заводится. Тетрадка нэповского времени долго лежала в нэповском сундуке. У завербованной голодраны, спецпереселенцев и комсомольцев дорогих кедровых сундуков нет. Техническая и прочая интеллигенция не тяготеет к старомодности. Они сундуков не держат в квартирах, у них – шифоньеры, шкафы. А вот в казачьих семьях станицы Магнитной кедровые сундуки найдутся. А сколько их, казачьих изб, осталось, Матафонов? По моим данным – всего пятьдесят дворов, триста душ. До революции здесь было две тыщи. Видишь, как сузился участок поиска? В городе двести тысяч населения. И в большинстве – отпадают. Ищи, Матафонов!

– Слушаюсь, Аркадий Ваныч!

– И помоги мне, сержант, в поиске трупа, который исчез из морга. Скажи, как на духу: ты не убил ли случайно бабку?

– Ни, товарищ начальник! Не убивал я ведьму. Стукнул я ее раза два-три для порядку, для общей уважительности к милиции и советской власти.

– За что старуху арестовали?

– Во-перво, она занималась несознательным промыслом: знахарствовала, колдовала. Во-второ, пыталась купить мешок пшеничной муки за монеты золотые. А за утайку золота ей срок положен от прокурору на десять лет.

– Кто может подтвердить, что ты, Матафонов, не прикончил знахарку, гражданку Меркульеву?

– Свидетели есть, Аркадий Ваныч. Нищий Ленин и мериканец Майкл видели, как я затолкнул колдунью в камеру.

– В какую камеру?

– В камеру № 2. Бросил я ее туда к энтому, чокнутому, который из колонии сбежал, от Гейнемана. Живую я ее запихнул туда. Она хрипела, царапалась и кусалась противозаконно, антисоветски.

– Ты поместил, Матафонов, женщину в одной камере с мужчиной?

– Какую женщину, товарищ начальник. Не было никакой бабы. В наличии находилась беззубая штрундя. И мужчины не имелось. В камере сидел доходяга, заключенный библиотекарь из колонии Гейнемана. Получокнутый он, при сообразительности, однако. Опросите его, он подтвердит, што я приволок старуху в камеру живьем. Она уж после дуба врехала, в камере. Тихо умерла, должно быть, от огорчения. Такое у меня классовое понимание.

– А почему, Матафонов, труп отправили в морг? Обычно ведь мы сами хороним, по ночам.

– Расстрелянных закапываем, арестованных по ордеру. А бабка была не заарестованной, а задержанной. К чему нам труп ееный?

– У гражданки Меркульевой есть родственники? С кем она жила?

– Со стариком жила. И внучка у них – торговка базарная. Старик-то красный партизан, из отряда Каширина, без подозрений с орденом. Потому и обыск не сделали у них, Аркадий Ваныч.

– В докладной осведомителя Шмеля говорится, будто у знахарки не так давно были Завенягин и Ломинадзе. Может, это сплетни, оговор, выдумки?

– Не наговор энто, Аркадий Ваныч. Показаниями подтвердилось. На черной легковушке они приезжали, самогон употребляли, груздочки, рыбу жареную, пельмени. Пели песни царских прислужников – казаков. Пили они с дедом и бабкой. Старуха вот помре.

– А вскрытие патологоанатом производил? Как ты думаешь, Матафонов?

– Все честь по чести, Аркадий Ваныч. Брюхо старухе вспороли, мозги выковыряли.

– А что говорит сторож морга?

– Што говорит? Энто и пересказать в неудобности, Аркадий Ваньч. Сторож самогон употреблял в малосознательности. Сидел, значится, посеред покойников, пил и кушал в некультурности ливерную колбасу. А мертвая старуха встала и ушла без полного позволения докторов.

Порошин улыбался, наслаждаясь речью сержанта. Вот она, кондовая Россия, темная, искренняя, простодушная, косноязычная – до прелести. И не удержался, спросил:

– А почему, Матафонов, ты полагаешь, что сторож ел ливерную колбасу в некультурности?

– Так ить как же? При мертвяках кушать колбасу некультурно.

– А как фамилия беглеца из колонии? И где он сейчас? Я ведь после командировки, еще не вошел в курс дел...

Матафонов набычился недовольно, но ответил:

– Бежавшего из колонии мы взяли на станции Буранной. В пустом вагоне из-под угля. Заключение было осужден недавно, по статье 58. Подлинная его фамилия неизвестна. Сидел он по тюрьмам и раньше. У нас по приговору прошел как Илья Ильич Бродягин. По кличке – Трубочист. Вчера я возвратил его под конвоем в колонию. И напощивал ему для уважительности к НКВД.

Порошин встал из-за стола, одернул полу своей кожаной куртки, подошел к окну. Над горой Магнитной пролетала черная воронья стая. На ржавом ступенчатом срезе рудника виднелся маленький, почти игрушечный экскаватор. А слева коптели округу мартены, доменные печи, коксохим с ядовито-зелеными дымами. И не было никакой связи между вороньей стаей, вишняком на склоне горы, экскаватором и домнами. Фрагменты какого-то распада и абсурда. А за спиной сопел конопатый, мордасто-курносый богатырь. Мускулы и меч победившего пролетариата. Занесенного случайным ветром москвича он скорее всего недолюбливает. Бойся вопросов о старухе, труп которой пропал из морга. А почему? Никто ведь не стремится причинить ему зло. Вмешивается директор завода Завенягин? Но для НКВД он – никто. Вступается за знахарку секретарь горкома партии Ломинадзе? Ха-ха! Ха-ха! Виссарион Виссарионович сам под наблюдением, подозрением, в опале. Пыжится какой-то там прокуроришка Соронин? Но у него, наверно, жалоба, сигнал. Ему надо показать, будто он охраняет законность.

– А для чего вы, сержант, били этого бродягу, беглеца из колонии? Он может в отместку теперь показать, что вы ужокошили старуху. Возможно, прокурор Соронин уже имеет это свидетельство. Слишком уверенно он говорил. Мол, гражданку Меркульеву убили в подвале милиции.

– Никак нет, товарищ начальник! Трубочист энтих обманных показаний сроду не изрыгнет.

– Почему ты в этом уверен, сержант?

– Трубочист не сумнительный в честности.

– Не совсем понимаю.

– Он, Трубочист, конь брыкучий, ан с достоинством. До оговора не опускаются такие, Аркадий Ваньч. А бабулю я в самом деле не пришивал. Голову даю на отсечение. Прошу снять показания у Трубочиста, пока он снова не утек. Свидетель он наиважный для моей невиновности.

– Вы свободны, сержант. Идите, занимайтесь своим делом, – спокойно произнес Порошин, продолжая смотреть в окно на черную воронью стаю.

## Цветь третья

Москва околдовывала сердце башнями и зубчатыми стенами Кремля, витыми маковками Василия Блаженного, золотыми куполами церквей, архитектурой старинных особняков с колоннами портиков, ангелами и львами, мраморными девами, упряжками коней – летящих в небе. Каждый камень Москвы имеет свой колдовской камертон. А земля таит в глубине гул набатов, цокот копыт со времен Ивана Грозного. И лучится город то славой великой, то пламенем далеких пожаров и потрясений.

Вячеслав Михайлович Молотов любил Москву, как всякий истинно русский человек. Он всегда смотрел на храмы с какой-то щемящей грустью и тайным наслаждением. Для всех остальных членов правительства столица была лишь крепостью власти, чужим городом. Сталин не испытывал трепещущего чувства перед Москвой. Каганович согласился бы с легкостью снести столицу с лица русской земли. Ворошилов мог жить бы и в Стамбуле, если бы над минаретами вознеслись пятиконечные рубиновые звезды.

Никто и никогда не мог бы догадаться, о чем думал Молотов. Непроницаемость была для Вячеслава Михайловича надежной защитой. Сталин видел насквозь до мельчайших подробностей всех, кроме Молотова. Коба разгадывал его всю жизнь, то возвышая, то унижая, но так и не разглядел до необходимой ему ясности. Спокоен и непроницаем был Молотов и несколько лет назад, а именно 5 декабря 1931 года, когда разрушали храм Христа Спасителя. Сталин стоял рядом, попыхивал трубкой и хитровато бросал короткие взгляды – то на Кагановича, то на Ворошилова, то на комсомольского вожака Косарева. Христа Спасителя окружили на большом расстоянии тройной цепью красноармейцев и чекистов, чтобы не подпустить народ. Величие и богатство храма давило на пигмеев политики. Кресты на звезды не заменишь, подобное не построишь. Бастион старого мира раздражал особенно Лазаря Моисеевича. Но больше других отличался энтузиазмом разрушения Косарев. Он бросался к стенам храма с отбойным молотком, весело бесновался, даже рычал и приплясывал. Тухачевский предлагал начать взрывные работы сразу. Ворошилов похлопывал от восторга по своим жирным ляжкам. Калинин выглядел остроносо, несколько чудаковато и растерянно.

– Он потихоньку верит в бога, – кивнул на Калинина Сталин.

Бухарин, как всегда, изрекал пошлые истины под видом глубокомыслия. Отбойные молотки косаревской бригады трещали, клевали гранитные плиты, кое-где разрушали мрамор, но храм повергнуть не могли. Буденный, Тухачевский и Ягода вцепились в канат, стаскивая с высоты колокол. Таким способом храм Христа Спасителя не удалось бы разрушить и за десять лет. Пришлось приступить к делу взрывникам, специалистам Тухачевского. Прогремел первый взрыв, падали и разбивались башенки, колокола, развалился купол. Один из колоколов упал и раскололся с утробным, долго звучащим стоном.

Храм умирал долго и мучительно, разваливаясь по частям с плачем, содроганиями земли, молчанием неба. Только у птиц разрывались сердца на лету. Белый голубь упал к ногам Кагановича. Птица еще трепыхалась, пыталась поднять голову. Лазарь Моисеевич отступил на шаг. Ворошилов посоветовал:

– Дави ее сапогом!

– Она же может быть заразной, больной, – отказался Каганович.

Климент Ефремович поднял голубя, оторвал ему голову, но очень уж неловко: обрызгал кровью птицы Тухачевского.

– Идиот! – обругал Тухачевский Ворошилова.

При начале взрывных операций членам правительства пришлось отойти подальше. Бухарин подстроился в группу, где был Сталин, воздел артистически указательный палец к небу:

– Вот и рухнул самый крупный динозавр христианской религии!

Мудрец оратор явно претендовал на афоризм, который должен бы войти в историю. Но мир афоризмы Бухарина не замечал, не употреблял, ибо за каждым его изречением стояло злодейство или зломыслие. И здесь, при взрыве храма Христа Спасителя, Бухарину внимали только из вежливости Орджоникидзе и Киров. Когда купол Спасителя рухнул, Сталин сказал как бы шуточно:

– Если есть Бог, он накажет в первую очередь Бухарина, Косарева, Тухачевского...

– Кагановича! – добавил Молотов Лазаря Моисеевича в число тех, кого должен был наказать Бог.

– Для иудея разрушить православный собор не грех! – ухмыльнулся Коба. – Потому бог его не накажет.

\* \* \*

Почему все это опять вспомнилось? Много времени прошло, много воды утекло. Молотов сидел в своем рабочем кабинете, держал в руке письма академика, лауреата Нобелевской премии – Ивана Петровича Павлова. Письма весьма бунташные, саднящие. Сталин, Бухарин, Ворошилов и Калинин на такие послания не отвечают, передают их Генриху Ягоде. И тот, как паук, собирает в сетях своих протесты, особые мнения, жалобы, истерические выкрики против советской власти. Но Молотову хотелось ответить лично, полемически спокойно, но уязвительно. Третий раз он перечитывал, переписывал, правил ответ академику, но уязвительности не получалось. Потому и начал перечитывать послания Павлова заново:

«Вы напрасно верите в мировую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: “Да здравствует мировая социалистическая революция! Да здравствует мировой Октябрь!” Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим младенцам Временного правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим Октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас, и, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы, – террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему?»

Вячеслав Михайлович Молотов вытер носовым платком высокий вспотевший лоб, встал из кожаного кресла, подошел к зеркалу – за дверью в комнате отдыха. Оно, зеркало, было единственным его мудрым и верным собеседником. Молотов закрыл глаза, представил, увидел перед собой «собачьего академика». По внешности какой уж там интеллект? Низкий, покатым лобом питекантропа, неприятная лысина, узкие – недоразвитые челюсти. По облику – типичный ублюдок, деградант. Но по идеям, успехам в науке – гений, авторитет. Опыты над собаками, слава, условные и безусловные рефлексy. Просто природа обидела академика внешностью, породила несоответствие формы и содержания.

Но почему академик лезет в политику? Если бы мы проявили подобную ретивость в отношении вопросов физиологии – выглядели бы жалко. Ох уж эти ученые мужи! Губят сами себя. Профессор Порошин, к примеру. Назвал в письме советское правительство «жидокоммунистической тиранией». Пришлось изолировать профессора, отдать его на перевоспитание Генриху Ягоде. Навряд ли выживет ученый-бунтарь в концлагере. Ягода к таким жесток. Но без Ягоды не обойтись. Он предан, усерден, без умышлений на политический взлет, на руководящую роль в партии. Такие – нужны, остро необходимы.

А у академика Павлова, профессора Порошина нет классового чутья, пролетарского подхода к событиям, тенденциям общественного развития. Империалисты огнем и мечом прокла-

дывают себе путь к мировому господству, ими загублены миллионы людей в Индии и Америке. А мы, большевики, спасли от гибели человечество, строим успешно бесклассовое социалистическое общество. Да, общество подлинно высокой культуры и освобожденного труда, несмотря на все трудности борьбы с врагами этого нового мира! Профессор Порошин – просто недоумок. Конечно, евреи пока заполнили почти весь партийный и государственный аппарат. Но разве Сталин, я, Рыков, Ворошилов, Буденный, Калинин – жидомасоны?

Представить жидомасоном Буденного было невозможно. Тупица с казачьими усами, каракатица кривоногая с выпученными от глупости глазами. Ворошилов чуть умнее, живее, подвижнее, но тоже не личность – а самовар, заполненный кобыльей мочой. Очень уж вульгарен, любимое его развлечение – похабные анекдоты. Калинин – фигура подставная, самая жалкая, манекен народно-крестьянского представительства. Рыков сер, сам себе на уме, лавирует, но чувствует себя беспомощным перед интеллектуалами. Самая посильная должность по его плечу – заведующий районной скотобойней.

Все они прекрасно осознают свое ничтожество, поэтому так преданы Кобе. Сталин – гений в подборе кадров. Но почему не соглашается он пойти на ликвидацию Бухарина? Душонка у Бухарина по-иудски вертлявая, трусливая, пакостная. Бухарчик предает по очереди своих друзей-соратников, пытается выжить в борьбе за власть, остаться теоретиком партии, звездой социализма. Он умело использует национальную еврейскую солидарность в своих интересах, опирается на евреев. Но в этом его просчет, трагедия. Еврейская элита партии, все эти Зиновьевы, Радеки, Томские, Каменевы, Мануильские были обречены после февраля 1934 года, когда закончился семнадцатый съезд партии. Против Сталина голосовало так много делегатов, что пришлось фальсифицировать итоги выборов, подменять бюллетени.

В сущности Коба был отстранен от власти, все рухнуло. Оппозиция делала ставку на Кирова, вела с ним переговоры. Киров мог стать генсеком. Но Сергей Миронович проявил благородство, не перешел дорогу Кобе, рассказал ему обо всем. Всех делегатов партсъезда, которые голосовали против Сталина, пришлось уничтожить. И не сразу Иосиф Виссарионович решился на такой шаг. Воля его была парализована, и он потерял почти год на раздумья, бездействуя. Наступление на оппозицию Коба начал в какой-то степени по-иезуитски: с убийства Кирова. Но Молотов его за это не осуждал, ревнуя лишь к новому фавориту – Жданову.

С другой стороны, Жданов был выгоден для Молотова. Не любил Вячеслав Михайлович грязные дела. Жданов был решительнее. Он и подсказал Сталину идею о смещении Ягоды с поста наркома внутренних дел. Генрих Ягода не смог бы устроить для членов ЦК «ночь длинных ножей». Убрав Кирова, Ягода остановился, стал самым опасным свидетелем. И еврей Ягода не годился для уничтожения еврейской элиты в партии. Нужен был новый человек, жесткий, не связанный преклонением перед авторитетами. Такой молодец нашелся – Ежов. Но все это было пока в замысле. Сталин и Жданов уехали отдыхать на юг, пообещали сообщить окончательное решение – в телеграмме.

И все-таки Жданов пока еще не соперник и таковым не станет. Опасен Бухарин. Орджоникидзе увяз в делах промышленности. Сталин часто бывает раздражен провалами в хозяйстве страны, устраивает разносы, оскорбляя Серго. Была и такая комическая история... Старые большевики посылали в Москву письма из Магнитогорска: мол, вредительство крупного масштаба – строят металлургический завод, а руды в Магнитной горе нет и не было! Сталин решил направить для проверки сигналов на Урал Климента Ворошилова.

– Что этот дурак понимает? – взорвался Серго. – Он же не специалист.

Но Коба проявил твердость, унизил Орджоникидзе проверкой. Ворошилов, в отличие от Серго, не стал советоваться со спецами-учеными, не стал рассматривать схемы бурения скважин, расчеты объема рудного тела. В южном городе Урала – Магнитогорске он появился неожиданно, как бы на обратном пути с Дальнего Востока, почти случайно. Климент Ефремович сходил на домну, побывал в бараках, поел с бригадой бетонщиков овсяной каши. Ложка

у него была своя, серебряная, с царскими вензелями. У настоящего солдата ложка всегда за голенищем сапога. Ложку подарил Ворошилову Исай Голощекин, который расстрелял императорскую семью в Екатеринбурге.

– Чем ты мне докажешь, что есть руда в Магнитной горе? – спросил Климент Ефремович у начальника рудника Бориса Петровича Боголюбова.

Боголюбов начал показывать карты разведочного бурения, выполненные еще Заварицким, подписанные Гассельблатом. Ворошилов отбросил бумаги:

– Где ваш Гассельблат? В тюрьме – как вредитель из промпартии! И ты посмел мне совать под нос эти паршивые бумажки?

– Но у нас есть данные и других исследований. Заварицкий и я лично отвечаю за расчеты, – начал оправдываться Боголюбов.

– Ты мне руду предъяви, а не бумаги! – рявкнул Климент Ефремович.

– Вот пробная штольная, можно и руду увидеть.

– Что ты на канаву показываешь? Углуби на сто метров штольно. И пробей через весь холм! – приказал Ворошилов.

– Но это обойдется очень дорого, Климент Ефремович. И глупо, нелепо этим заниматься.

– Кто ты такой, говнюк? Делай, что сказано. Проруби штольную и освети. Через три дня приду проверять.

Три дня и три ночи гремели взрывы на Ежовском холме – одной из вершин горы Магнитной. Две тысячи заключенных под криками, выстрелами и ударами прикладов пробивали штольную, сменяясь через каждые четыре часа. Люди падали и умирали от изнурительного темпа, побоев и голода. Трупы сваливали в кучи-штабеля, отвозили на грабарках, закапывали по вечерам в ямах.

Но задание было выполнено. Вот что значит воля большевика! С таким руководителем можно было построить не один, а семь социализмов, да еще и остатки экспортировать в зарубежные страны, которые изнывали и загнивали под гнетом проклятой буржуазии. Климент Ефремович прошел по штольне, прихватил кусок руды, завернул его в носовой платок: для Сталина! Не обошлось в Магнитке и без чрезвычайного происшествия. Перед отъездом в Москву Ворошилов дал согласие выступить на митинге героев труда. Дощатую трибуну соорудили на площади заводоуправления, обили горбыли красным ситцем. Ночью трибуну кто-то ободрал, материя понадобилась. Красного ситца в наличии больше не оказалось, но был алый шелк, его пришлось использовать. Клименту Ефремовичу понравилась трибуна, обитая алым шелком. Народу собралось много, согнали со всех участков рабочих, да и сами люди рвались на митинг, чтобы увидеть легендарного Клина.

Но выступить Ворошилову не удалось. По нелепому совпадению, а может, и вредительскому умыслу, как раз в это время шла с работы в концлагерь трехтысячная колонна заключенных. А дорога пролегла вплотную к забитой людьми площади. Заключенные бросились вдруг в толпу, окружавшую трибуну, смешались с первостроителями, рабочими, спецпереселенцами. Охрана открыла стрельбу, но вверх, в небо. Отважного Климента Ефремовича с трибуны как ветром сдуло.

Историю эту Молотов узнал в пересказе и от Орджоникидзе, и от своего душевного друга – Авраамия Павловича Завенягина. Сталин при попойках на своей даче иногда стучал вилкой по фужеру и насмешничал:

– Расскажи, Серго, как нашего Климку с трибуны в Магнитке будто ветром сдуло...

– Да врет он все! – протестовал Ворошилов.

И Ворошилов, и Орджоникидзе могли привирать. Но не был способен на такое Авраамий Завенягин. У политических деятелей высокого ранга не бывает друзей. Не пытайтесь узнать, кто был другом у Цезаря, Наполеона, Гитлера, Бисмарка, Сталина, Кагановича... У руководителей государства, как и у гениев, друзей не бывает. Они одиноки. Из всего советского пра-

вительства друга имел только один – Молотов. И дружба эта была тайной. Молотов познакомился с Авраамием года за два до смерти Ленина на партконференции в Харькове. Жили они с Авраамием в одном номере гостиницы. Грипп или какая-то неведомая горячка свалила Молотова в постель. Он метался в бреду, теряя сознание, умирал. В больницу его не приняли, она была забита тифозниками. И все забыли о Молотове, кроме Завенягина. Авраамий вызывал врача-частника, приносил молоко, малину в сахаре, настой чабреца на меду. Все это стоило дорого, и Завенягину пришлось продать на толкучке свои именные серебряные часы, которые он получил за участие в разгроме повстанческого движения зеленых. На пятый день болезни Молотов обмочился, но от полного изнеможения встать с постели не мог. Завенягин перенес его в свою сухую постель, обтер влажным от уксуса полотенцем, приговаривая:

– Ты выживешь, Вячеслав. Пот из тебя хлынул, жара спадает.

Желтое пятно на простыне Завенягин застирал в тазике, истратив свой последний окатыш духового мыла. И выходил Завенягин больного.

– Век буду благодарен, Авраамий, – прошептал тогда Молотов, еле шевеля вспухшими, потреснутыми губами.

После этого Вячеслав Михайлович никогда не терял из виду Завенягина, не забывал о нем. Впрочем, помогать ему не приходилось. Авраамий был талантливым инженером и организатором, любимцем Серго Орджоникидзе. И не случайно его направили к Магнитной горе – директором металлургического завода. Утверждал Завенягина на должность сам Сталин. Коба спросил у Серго Орджоникидзе:

– А твой Завенягин понимает, какую он берет на себя ответственность?

Сталин при всей своей информированности не знал о дружбе Молотова и Завенягина. Иосиф Виссарионович полагал, что Завенягин является учеником и выдвиженцем Серго Орджоникидзе. Впрочем, в этом Коба не ошибался: так оно и было.

В Москве Авраамий Павлович Завенягин бывал часто, как все крупные хозяйственники. Молотов обычно принимал друга на даче. Они пили чай в беседке под кроной дуба, вершина которого была изуродована молнией. Вячеслав Михайлович при последней встрече промолвил:

– Ты, Авраамий, будь осторожен. Не лезь в политические интриги. НКВД все видит, все слышит, все знает. Кстати, как у тебя складываются отношения с Бесо?

– Плохо, дружбы нет. Однако отношения – деловые, нормальные.

– Ты нуждаешься в дружбе с Бесо? – посмотрел Молотов на обожженную молнией вершину дуба.

– Нет, Вячеслав, не нуждаюсь. Не лежит у меня к нему сердце. Но я уважаю его. И в Магнитке он популярен, любят его рабочие.

Молотов поднял сухую веточку, упавшую с дуба, переломил ее:

– У Генриха Ягоды сигнал есть, что Ломинадзе распространяет пакостное письмишко Рютина...



## Цвет четвертая

Начальник исправительно-трудовой колонии Гейнеман составлял отчет, то и дело перечеркивая цифирь, когда к нему вошел Порошин. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, обменялись шутивными тумаками, ибо презирали мужиков, которые при встречах слюняво целуются. Не может быть в жизни более отвратительного явления, чем поцелуи мужчин с мужчинами. Извращение какое-то! Тошноту вызывает это у нормального человека.

В Магнитогорске мало кто знает, что Порошин и Гейнеман – друзья с детства. А они выросли в одной московской коммуналке, учились в одной школе на Садовом кольце, возле посольской улочки. Равенства и дружбы между их семьями не было. У Мишки Гейнемана отец был портным, семья теснилась в одной комнатке. А профессор Порошин барствовал с женой и сыном Аркашей в трех весьма просторных покоях с отдельным туалетом и ванной. Но обособленной кухонки после революции не было и у Порошиных. Общий коридор, общая кухня – коммуналка. Когда-то вся эта квартира из девяти комнат принадлежала профессору Порошину. Но победивший пролетариат потеснил богачей. В покои Порошиных Моссовет подселил шесть семей из еврейской бедноты. Профессор был слишком известен и уважаем, чтобы у него изъять всю квартиру. Жильцы коммуналки не признавали Порошиных за своих, поскольку у профессора были персональный туалет с голубой голландской раковиной и ванная, куда соседи не допускались. По этой причине Порошиных не любили и даже ненавидели, устраивая им разные пакости. То галоши украдут, то таракана подбросят в кастрюлю с куриным бульоном. И не боялись, хотя профессор лечил самого Менжинского. Бывал у него и Артузов – глава контрразведки.

Мишка Гейнеман и Аркашка Порошин никогда не ссорились. Ничто не могло испортить их отношений. Профессор иногда брезгливо поучал сына:

– Аркадий, я запрещаю тебе общаться с этим еврейчиком! Это компрометирует нашу семью. У твоего дружка грязь под ногтями, от него пахнет утюгом. У него глазенки хитреца. Он тебя завлечет в нехорошую компанию, погубит судьбу твою.

Но дружба мальчишек не порушилась. Они сидели в школе за одной партой, защищали друг друга в драках, после окончания десятилетки поступили в один институт. Так уж получилось – одно детство, одни игры, одни книги и увлечения, одна юность. Как-то Менжинский заехал к профессору Порошину, разговорился и с Аркашей.

– Вырос ты на моих глазах, сынок. Институт закончил, где будешь работать?

– Хочу в уголовный розыск, – ответил Аркадий.

– Подойди завтра к моему заместителю, к Ягоде, – с ласковой гипнотичностью сказал Менжинский.

– А можно мне прийти с другом, с Мишкой Гейнеманом? – по святой простоте спросил юноша.

– Приходи с другом, – рассмеялся беззвучно Менжинский.

Так вот и устроились в НКВД друзья – Аркадий Порошин и Михаил Гейнеман. И карьера у них была головокружительной. Будто неведомая сила поднимала их с одной ступени на другую, хотя работали они в разных отделах. Впрочем, у Аркадия Порошина проявились незаурядные способности сыщика. Он раскрыл несколько крупных преступлений. А после рютинского дела стал знаменитостью. Рютина вычислил и нашел он, Аркадий Порошин. Горьким и тревожным было падение с таких высот. Невозможно было узнать, за что арестовали отца. Прдержали полгода в Бутырке без допросов и Аркадия, но вдруг выпустили, направили в Магнитогорск. Сюда же, но чуть раньше был послан на должность начальника исправительно-трудовой колонии Михаил Гейнеман.

Друзья встретились вновь, но вели себя осторожно, близкие отношения свои не выказывали. Да и дружба их была необъяснимой по тем временам. Аркадий Порошин свято верил в торжество мировой революции, в идеалы коммунизма, в необходимость диктатуры пролетариата. А Мишка Гейнеман сокрушал все эти понятия своей блистательной иронией, критической остротой, веселым безверием. И они полемизировали ночами напролет, спорили, обзывали друг друга, оскорбляли, но скорее шутливо – без малейшей злости. Порошин испытывал перед Гейнеманом и чувство вины, понимая, что друг попал в ссылку не просто так. Отца взяли скорее всего за длинный язык, а Мишку-то за что бросили в ад?

– Ты зачем среди бела дня приперся? – спросил Гейнеман.

– У меня, видишь ли, дело...

– Какие дела могут быть в наши дни? Приходи завтра вечером, я тебе покажу чудо. Есть у меня один зэк, волшебник.

– Псих?

– Для общества он – псих. Для нашего советского общества каждый необычный человек – или враг, или чокнутый. Аркаша, у меня сердце обливается кровью, когда я с ним беседую. Чтобы спасти его от гибели, пристроил библиотекарем, прикармливаю.

– Мишка, я тоже волшебник: легко могу угадать фамилию, имя, отчество твоего чудодея.

– Валяй!

– Бродягин Илья Ильич. По прозвищу Трубочист.

– Аркашка, ты – гений!

– Я сыщик, Миша. Дай-ка указание доставить сюда срочно этого Бродягина. Он мне нужен позарез.

Офицер караула привел зэка минут через десять. Перед начальством предстал высокий, изможденный, начинающий сидеть человек, но явно лет сорока, не более. Его ястребиный нос хищно жаждал свободы, но голубые мерцающие глаза были полны скорби и обреченности.

– Садитесь! – указал Порошин на табурет, припомнив, что видел этого типа на базарной толкучке рядом с нищим, похожим на Ленина.

– Благодарю, Аркадий Иванович, – галантно склонил голову зэк.

– Откуда вам известно мое имя, отчество?

– О, мне известны все тайны мироздания. А фамилию, имя, отчество любого человека увидеть не так уж трудно.

– Илья, давай без фокусов, – попросил Гейнеман. Порошин подтвердил:

– Дешевые фокусы не пройдут. Я исповедую диалектический материализм. И обычно нахожу истолкования для любого загадочного или мистического явления. С моей фамилией, именем, отчеством – вообще не вижу ничего загадочного. Вы ведь побывали в нашем милицейском подвале, общались там с арестованными. И здесь, в колонии, меня могут знать многие. Шокировать меня вам не удалось. Перейдем к делу, официально. Ваша фамилия, имя, отчество? Сколько вам лет? То бишь – год рождения...

– Не знаю, как и ответить, гражданин следователь. По кличке я – Трубочист. Так уж меня называют.

– Кто вы по документам?

– По документам я – Бродягин Илья Ильич, уроженец казачьей станицы Зверинки, что под городом Курганом, на реке Тобол. Но в самом деле я просто запрограммирован под уроженца Зверинки.

– Откуда же вы в самом деле?

– Я прилетел к вам в 1917 году, с планеты Танаит.

– Откуда прилетели?

– Из далекого созвездия Лебеда. Наш корабль потерпел крушение.

– Гражданин Бродягин, об этом побеседуйте, пожалуйста, с психиатром, с учеными, с поэтами.

– Психиатры признают его нормальным, – вмешался Гейнеман.

– Хорошо, хорошо, – продолжил Порошин. – У меня к вам, гражданин Бродягин, весьма простые вопросы: с кем вы находились в камере № 2, когда были арестованы за побег из колонии?

– Со мной в камере был Ленин, Владимир Ильич. Но его отпустили, предварительно избив. Сержант ваш пинал, колотил кулачищами Ленина и кричал: «В следующий раз я с тебя шкуру сниму, Владимир Ильич!»

– Кто был еще в камере?

– Портной Штырцкобер. Но его отправили на постоянное место жительства, в тюрьму. А после Штырцкобера ко мне в камеру затолкнули женщину. Но, знаете ли, очень почтенного возраста. Нельзя ли в следующий раз – помоложе?

– Кто доставил в камеру женщину?

– Не женщину, а старушку, Евдокию Меркульеву. Ее притащила конопатая горилла в милицейской форме.

– Вот этот работник милиции? – показал Порошин фотокарточку сержанта Матафонова.

– Да, это он, – кивнул согласно допрашиваемый. – Ленина избивал и пинал он. И старушку он слегка поколотил.

– Гражданка Меркульева была живой? Она стояла на ногах? Или ее затолкнули в камеру мертвой, без сознания?

– Бабушка была живой, Аркадий Иванович.

– Как долго она была живой?

– Всю ночь. Мы с ней, можно сказать, подружились. Заинтересованно обменивались впечатлениями, обидами. И она исполнила для меня танец ведьмы. Такая дикая пляска с превращениями то в девицу, то в скелет.

– Вы с ней танцевали, плясали?

– Разумеется, я не мог отказаться от приглашения.

– Когда, как и при каких обстоятельствах она умерла, гражданин Бродягин? Правомерно ли утверждать, что гражданку Меркульеву убил сержант Матафонов?

– Сержант не убивал старушку.

– Кто-нибудь еще в камеру заходил?

– Нет, Аркадий Иванович, никто больше камеру до утра не открывал.

– Тогда, может быть, вы, Илья Ильич, помогли расстаться бабушке с драгоценной жизнью? Предположим, вам не понравилось, что она во время танца превратилась из молоденькой девицы в скелет. И вы от справедливого возмущения слегка ее придушили.

– Во время танца со мной она скелетом обернулась всего один раз. У меня не было к ней претензий.

– Как же она умерла?

– Не знаю, как ответить.

– Говорите правду, только правду!

– Правде вы не поверите.

– Ничего, разберемся, гражданин Бродягин. Поведайте честно: как она умерла?

– Дело в том, Аркадий Иванович, что она не умирала – по вашим понятиям. Не было смерти, о которой вы говорите.

– Она притворилась мертвой? – высказал догадку Порошин.

– Не совсем так, – возразил Бродягин-Трубочист.

– Что же случилось, Илья? Расскажи, не бойся. Аркадий – мой друг, умный человек, не злодей, – подтолкнул своего зэка Гейнеман.

Трубочист поник, засутился, отводил глаза в сторону, бормотал:

– Но вы же опять подумаете, что я душевнобольной, псих, мне вас так жаль. Люди вы хорошие...

– Не жалей, не жалей! – подбодрил Порошин зэка. И Трубочист заговорил:

– Евдокия Меркульева не умирала. Она оставила свою оболочку, тело, попрощалась со мной и выпорхнула через решетку в оконце. Для вас, материалистов, это непостижимое явление.

У Порошина глаза озорно заискрились, он как бы принял игру, начал задавать вопросы, не занося их в протокол:

– Известны ли нашей земной цивилизации прецеденты? Зарегистрированы ли они научно, литературно? Разумеется, сказки и фантастика – не доказательство.

Трубочист закинул ногу на ногу, важно и нелепо избоченился, сидя на скрипучем табурете:

– Да-с, господа! К Иоанну Грозному не единожды приходила душа сына, которого он убил. И это видел не один царь, а вся его челядь. Царевич Дмитрий наказал за свое убийство не только Бориса Годунова, но и все боярство. Еще более любопытен эпизод с императрицей Анной Иоанновной. В октябре 1740 года она лежала смертельно больной в постели, а ее двойник-фантом бродил по дворцу, пугая прислугу. Когда привидение село на трон, стража открыла стрельбу... Все это подробно описано, засвидетельствовано! Царевич Алексей, расстрелянный большевиками, до сих пор ходит по России и указывает детским перстом на злодеев. И светлые души убиенных царевен плачут...

Порошин прервал Трубочиста:

– Вы, наверно, полагаете, что попали в заключение безвинно?

– Да, меня арестовали без достаточных оснований. Но мы с вами беседуем, по-моему, о том, как солдаты стреляли в призрак царицы... По-вашему, что это такое было?

– Мог быть массовый психоз, коллективная галлюцинация. Не противоречит материализму и положение о том, что душа человека может иметь энергетическое выражение в виде фантома. Лично я допускаю такое. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Вы меня заинтересовали, Илья Ильич. А в данный момент ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: если бы гражданка Меркульева вернулась в оболочку свою, в тело, мы бы увидели ее сегодня живой?

– О, разумеется! – рокотнул Трубочист.

Порошин не успокоился:

– А если бы в морге произошло вскрытие трупа патологоанатомом? Могла бы тогда гражданка Меркульева вернуться в свою оболочку, воскреснуть?

– Нет, исключено!

– Благодарю за консультацию, Илья Ильич. Будем считать нашу беседу законченной. До свидания! – встал Порошин, беря телефонную трубку.

Гейнеман показал Трубочисту на дверь, за которой стоял охранник:

– Иди, Илья, тебя проводят. Вечером приглашу, поиграем в шахматы.

Порошин дозвонился до горотдела, но слышимость была плохая, он кричал в телефонную трубку:

– Матафонов? Допроси еще раз патологоанатома и сторожа морга. Было ли вскрытие трупа? Может, они нам голову морочат?

Гейнеман достал из шкафа хрустальный графинчик с водкой, стаканы. Начал резать на газете копченую колбасу.

– Не надо, Миша, – сглотнул слюну Порошин. – Мне же снова на работу, запах будет.

– Да мы понемножку, символически, – разлил водку по стаканам Гейнеман.

– А где колбасу достаешь, Миша? Из посылок заключенных?

– Такая колбаса в рот не полезет, Аркаша. Я пока еще не опустился до этого. Купил вот на вашем хапужном аукционе конфискованную библиотеку – и теперь жалею, стыдно. Вернул хозяину, а совесть болит: замарался! Такая грязь не отмывается.

– Стоит ли думать о таких пустяках, Миша?

– Мы преступники, Аркаша. Через мой лагерь прошло только за два года по 58-й статье тридцать две тысячи душ. Живыми отсюда не выходят. Мы даем им в сутки всего по сто грамм хлеба. Онидохнут с голоду сотнями, тысячами. У меня не колония, а гигантская машина по интенсивному уничтожению людей.

– Не людей, а врагов народа! – выпил водку Порошин.

– Каких врагов, Аркаша? Ненавистниками, врагами советской власти они становятся здесь – в тюрьмах, в концлагерях. Да и то – единицы. Остальные сломлены, нет у них ничего, кроме тоски смертельной и отчаянья. В страшное время живем. Господствует страх, личность раздавлена.

– Не согласен! – возразил Порошин. – Время революции окрыляет личность. Я оптимист, хотя и сам полгода гнил в бутырской одиночке. Но ведь ошибку исправил. Надеюсь, что и отца отпустят, если не виноват. А классовая борьба обостряется. Врагов, Миша, надо уничтожать безжалостно. Сталин правильную линию проводит. Не для лозунга говорю, от сердца. Если мы их не сломим, они нас сомнут!

– Кто это – они?

– Вредители, троцкисты, враги.

Гейнеман вздохнул, уперся локтями в стол, закрыл лицо ладонями:

– Ты ослеп, Аркаша. Мы уничтожаем сотни тысяч, миллионы безвинных людей. Ты – русский, а Россию не жалеешь. Почему я, еврей, должен за нее болеть? Мне не жалко ваших казаков, крестьян, рабочих. Но ведь репрессии обрушились и на ученых, на интеллигенцию, на евреев.

Порошин улыбнулся:

– Ученых, творческую интеллигенцию надо было припугнуть, сломить. Очень уж они неуправляемы: критиканствуют, обличают, свободы требуют. А вот о репрессиях против евреев слышу впервые.

– Аркадий, вспомни хотя бы дело об Уральской промпартии. Какие люди положили головы на плахи: Гассельблат, Тибо-Бриньоль, Гергенредер, Рубинштейн, Тшасковский... Но ведь не существовало никакой промпартии! Дело № 13/4023 сфабриковано. И не надо пророком быть: Сталин скоро начнет уничтожать всех евреев.

– У тебя завиральные идеи, Мишка. Все ленинское правительство было сплошь еврейским: Свердлов, Троцкий, Каменев, Зиновьев... Нашей армией руководят евреи – Уборевичи, Корки, Эйдеманы, Якиры... Менжинский и Ягода евреи. Твой ГУЛАГ возглавляет Берман, все начальники концлагерей – евреи! Я бы на месте Сталина не допустил такого еврейского засилья. Это, в конце концов, опасно для государства. Вы, евреи, уж такой народ: один пролезет – и тащит за собой всю синагогу. Сами подаете повод для подозрений и разговорчиков.

– Ты стал антисемитом, Аркаша? – погрузнел Гейнеман.

– Нет, Миша. Евреи – хорошие люди. Я даже думаю, что в России остался всего один по-настоящему русский человек.

– Кто?

– Штырцкобер!

– Портной из тюрьмы?

– Да, он.

– Скоро все там будем жить, в тюрьме.

– Нет, Миша, нас не арестуют. Мы – хозяева положения. И не стоит нам суетиться, духом падать. Будем работать. Мы в общем-то исполнители. Принеси-ка мне лучше досье, дело на Бродягина. Любопытство разбирает. Когда он был арестован первый раз? За какие грехи?

– Досье у меня под рукой, Аркаша, в столе. Впервые Трубочист арестован в 1917 году возле Троице-Сергиевой лавры, за антисоветскую агитацию. И квартировал он там – у монаха.

– Что у него изъято при обыске? Оружие было?

– Оружия не было. Изъяты самогонный аппарат, портативный радиопередатчик необычной конструкции, подозрная труба и водолазный костюм.

– Странный набор предметов. Вещи были на экспертизе? Например, радиопередатчик? Какого типа, где изготовлен?

– Нет, Аркаша. Экспертиза не состоялась. В Чека пожар случился. Все сгорело. А остатки хлама в головешках и в пепле не искали.

– Напрасно, надо было покопаться в золе. Может быть, этот Бродягин заслан к нам резидентом какой-нибудь иностранной разведки? И валяет Ваньку, разыгрывает психа, фантазера.

– Не отдам я тебе, Аркаша, моего Трубочиста. Все сделаю, чтобы его комиссовали – как психа. А ты лучше занимайся своим делом – ищи труп старухи.

## Цветь пятая

«Любовь есть неосознанное стремление к продолжению человеческого рода», – утверждал великий философ Шопенгауэр. Порошину эта мысль показалась сначала весьма глубокой. Но чем чаще он повторял про себя изречение мудреца, тем сомнительнее выглядел постулат. Ведь у животных тоже есть неосознанное стремление к продолжению рода. Получается, что и у них есть любовь. Почему же Шопенгауэр не подумал об этом? Но мыслитель был очень близок к истине. Его положение легко развить и углубить. И Аркадию Ивановичу Порошину однажды показалось, будто он окончательно сформулировал закон природы, открыл суть явления, нашел истину. А озарила Порошина горкомовская буфетчица – Фрося.

Аркадий заметил Фросю давно, на сцене самодеятельности, когда она тренькала на бала-лайке и пела частушки. Красавиц на Магнитострое было не так уж много: журналистка Людмила Татьяничева, молодая учителька Нина Кондратовская, дочка инженера-спеца Эмма Беккер, ну и эта – Фрося. Но что-то было в ней примитивное, если не вульгарное. И вдруг она преобразилась. В буфете горкома партии Фрося работала не так уж и давно. Взяли ее на эту должность по личной рекомендации Ломинадзе. Девчонка обладала феноменальной памятью, мгновенно усваивала и мягко имитировала манеры интеллигенции, органично вписывалась в цвет местного общества. И все-таки устойчивости в уровне культуры у Фроси не было. Она срывалась.

Обеды в горкомовском буфете были приличными: борщи с мясом, наперченные рассольники, суп харчо, котлеты с гречкой или вермишелью, а иногда люля-кебаб с рисом. Жаркое или гуляш с картофельным пюре всегда были. Ломинадзе любил покушать вкусно, но при условии, чтобы блюдо готовилось для всех, а не только для секретаря горкома. Голода в стране в это время уже не было при всей скудости. В горкомовский буфет стали приходить на обед и директор завода Завенягин, и Коробов, и Валериус, и прокурор Соронин, и начальник НКВД Придорогин, а также интеллигенция – врач Функ, преподавательница института Жулешкова со своей любимой студенткой Лещинской, журналистка Олимпова... Обеденный зальчик буфета становился и местом деловых встреч, и клубом общения, и коротким – часовым – отдыхом от суеты, ругани, перегрузок. Просачивались в горкомовский буфет и прилипали, такие как осведомители НКВД – Махнев, Разенков, Шмель. Фроська вначале пыталась их терроризировать:

– Ты кто?

– Я Шмель.

– Шмель – это насекомое. Я тебя спрашиваю: где работаешь? Как сюда попал?

Ломинадзе, однако, поставил буфетчицу на свое скромное место:

– Фрося, мы тебя взяли на работу не для того, чтобы ты хамила. Капиталист выгнал бы тебя за грубость без раздумья. Чем тебе не нравятся эти парни? Вай-вай!

– Так они же сиксоты, – наивно оправдывалась Фроська.

Сексот – это сокращенное название секретного сотрудника НКВД. Но в народе не все об этом ведали. И каждого ябедника обзывали извращенно сиксотом, не докапываясь до происхождения термина. Ломинадзе не терпел это гнусное словечко. Сексот – сиксот! Услышал сие словцо – и настроение портится, будто нечаянно в рот попала мокрица.

– Откуда тебе известно, что они... эти, так сказать, иудушки? – посмотрел пристально на буфетчицу секретарь горкома.

– Иудушки! – отогнал мух за обеденным столом доктор Функ.

– Иудушки! – прозвенела выпавшая из рук Лещинской ложка.

– Иудушки! – подтвердила громко и решительно рыжая буфетчица Фрося.

Начальник милиции Придорогин встал шумно из-за стола, бросив обкусанный ломоть хлеба, опрокинув солонку.



– Соль просыпал, будет ссора, – раскланялся, уходя из буфета, доктор Функ.

Придорогин подошел вплотную к Ломинадзе и зашипел:

– Надо думать, прежде чем рот раскрывать.

– Что я сказал? Чего ты окрылся? – отодвинул начальника НКВД Ломинадзе, поскольку от него исходил дурной запах гнилых зубов.

– Секретарь горкома называется! А разговорчики политически ущербные. Скажите мне, товарищ Ломинадзе, как это вы мыслите оперативную работу без осведомителей? Каждый сознательный советский человек должен быть сексотом, помощником органов госбезопасности. Вы подрываете наши устои. Не суйте свой нос в то, в чем не разбираетесь.

Виссарион Виссарионович Ломинадзе тоже рассердился:

– Если они ваши, извините за выражение, сексоты, то почему об этом известно нашей буфетчице Фросе? Вы просто не умеете работать, товарищ Придорогин. У вас низкий профессиональный уровень!

Секретарь горкома партии окинул начальника НКВД неуважительным взглядом и вышел из буфетного зальчика. Через другие двери, в другую сторону, столовую демонстративно покинули Соронин, Придорогин, Пушкин, Груздев. Гордо вышли и Жулешкова со студенткой Лещинской. Да, это был, конечно, скандал. Порошин не присоединился к уходящим. Он ощущал зверский голод, а обед был вкусен: суп гороховый, омлет с языковой колбасой, компот из ароматных груш солнечного Крыма, горячий, только что выпеченный хлеб. По этой причине Аркадий Иванович съел не только свой обед, но и оставшиеся, даже не затронутые омлеты своих коллег – Придорогина и Груздева.

Буфетчица Фрося сначала было заплакала, но через миг взбодрилась гневом, схватила поварешку и подбежала к столу, где сидели Махнев, Разенков и Шмель. Она шваркнула черпалкой по тарелке с гороховым супом, обрызгала желтой жижей и сидящего на другом столе Порошина.

– Мы составим акт, – пропищал Шмель, размазывая по своему лицу гороховую слизь.

Фроська ударила его поварешкой по губам:

– Из-за вас, идиотов, начальство голодным осталось.

Разенков и Махнев подошли подобострастно к Порошину:

– Просим, товарищ замначальника, зафиксировать ситуацию для судебного дела. Заверьте наш протокол.

Порошин вежливо поклонился:

– Простите, молодые люди. Но я задумался – и ничего не видел, не слышал. Разве здесь что-то произошло?

Под ударами поварешки Разенков, Махнев и Шмель выскочили за дверь, ушли, но свои омлеты засунули в карманы, обложив лакомство ломтями хлеба. Фроська начала обтирать полотенцем кожаную куртку Порошина.

– Вы уж извините, я нечаянно вас обрызгала.

Золотоволосая синеглазая девица была так близка и красива, что Порошина окатило жаром. Он поцеловал ее шутливо в щеку.

– Вы што это? – отступила и подбоченилась она строго.

– Ты мне нравишься, – улыбнулся Порошин. – Я тебя давно держу на примете.

– Я многим нравлюсь. Што же, меня теперича будут облизывать все подряд? Вы меня не за ту приняли.

– Извини, Фрося.

– На первый раз прощаю, так и быть. А как вас зовут?

– Зови меня просто – Аркадий.

– Вы ведь из нашего НКВД? Новенький – с Москвы?

– Да, Фрося.

– А где поселились?

– В общежитии.

– Ваши обычно не так житействуют. Арестуют человека, раскулачат семью, врагами народа объявят. А дом или квартиру с вещами забирают. Чекисты не бедствуют. Им ни к чему бедствовать.

– В такое не верю, Фрося. Может, что-то где-то было. Но знай: это для нас не очень типично. А подонки, сволочи, перерожденцы есть везде.

– Вы идейный, вижу. С крылышками ангела.

\* \* \*

Порошин встречался с Фросей почти каждый вечер, ходил с ней в кино, на танцы, пирушки своих друзей. И уже через месяц осознал, что жить без нее не может – влюбился! Да и она потянулась к нему, как зеленая травиночка к весеннему солнцу. На ухаживания Порошина за горкомовской буфетчицей Фроськой с разных бугров смотрели по-своему. Лева Рудницкий предлагал:

– Давай сыграем комсомольское бракосочетание – с клятвой под бюстом вождя. У меня уже есть одна пара – Виктор Калмыков и Эмма Беккер.

Ломинадзе шутливо предупреждал:

– Не вздумай обмануть девчонку.

Завенягин искренне радовался:

– Жду приглашения на свадьбу.

Придорогин, Пушкин и Груздев полагали, что через Порошина буфетчица горкома партии будет завербована в осведомительницы. Не обошлась любовь к девчонке из казачьей станицы и без ревнивого нападения молодцев. Однажды поздно вечером два кулакастых богатыря свалили с ног Порошина, чуть не забили его кольями. Но он извернулся, начал стрелять. Хулиганы убежали. Однако бригадильцы выследили их. Сержант Матафонов на другой день прихлопнул перепуганных парней в милицию. Оказалось, что это Фроськины поклонники – Антон Телегин и Григорий Коровин. Порошин по мольбе Фроськи отпустил недорослей, простил их. Позабавило Порошина признание Фроси:

– Не можно им в НКВД оставаться, Аркаша.

– Почему не можно?

– У них и другие грехи на душе. Ежли раскроют – расстреляют. И меня с ними. Мы из одного куреня. И на мне грехи страшные!

– Какие грехи, Фрося?

– Мы степь супротив большевиков подожгли. Склады у них тогда спалили, бараки, столовую, штабеля с тесом.

– Зачем вы это делали?

– Так ить вы, комуняки, захватили наши казачьи земли, покосы. Все хозяйства разорили, скот отобрали. А сколько людей постреляли, в тюрьмы загнали... Порушили вы нашу землю, казачество.

– Фрося, ты права только с высоты своей кочки. Да, землю у вас отняли. Но для чего? Чтобы построить металлургический завод, получить металл, дать земледельцу трактор, богатую жизнь! Представь, что будет через десять – пятнадцать лет: цветущие сады, золотые раковины в сортире каждого рабочего, изобилие продуктов, колбас, конфет. Каждая кухарка будет по очереди управлять государством. И тебя, Фрося, пригласит лично товарищ Сталин и скажет: «Я ухожу в отпуск, вы уж вместо меня проведите заседание политбюро, порешайте кадровые вопросы, международные проблемы».

– Чо врать-то? Сказки все это.

– Не вру, Фрося, а действительность превзойдет все сказки. Все это обещает партия, а не я! Партия, которая не сдержит обещаний, превратится в сборище жуликов и преступников. Коммунисты думают о народе, о будущем страны. А вы степь подожгли. Наверное, и диверсии на высоковольтных линиях – дело ваших рук?

– Да уж, Аркаша! Я и вымыслила эти дурверсии. А Гришка Коровин и Антоха Телегин исполняли мой вымысел. Лаптей по округе много валяется. Сунь камень в лапоть, обмотай проволокой... И раскручивай, забрасывай на электрические провода! Полетят молнии трескучие, искры пухлые. И замирает, корчится ваше чудище – чертов завод!

– Ты скажи, Фрося, своим друзьям – и Гришке, и Антону, чтобы затихли, одумались. Дело о диверсиях на электролиниях мне поручено расследовать. За такие проказы шлепнут сразу, в любом возрасте. Расстрел по закону – с двенадцати лет. У нас это обозначается тремя буквами – ВМН, высшая мера наказания. И пойми – я совершаю преступление, укрывая тебя и этих дурачков, Телегина и Коровина.

– Так ить ты меня любишь, Аркаша.

– Люблю, но...

– А што такое любовь?

Порошин молчал, огорченный дуростью Фроськи. Но все же смягчился от ее улыбки, начал объяснять, углубляя великого Шопенгауэра:

– Любовь – это неосознанное стремление к качественному воспроизводству человеческого рода. Вероятно, можно говорить о генетически запрограммированном поиске качества. По этому закону через миллион лет все люди будут красивыми, умными, талантливыми. Произойдет естественный отбор. У дурнушки меньше возможностей продолжить род.

Фроська расхохоталась:

– Красивая и умная родит одного-двух. А замухрышка – дюжину!

Теоретическое положение Порошина пошатнулось. И серьезного разговора с Фроськой не получалось. Основную идею она спародировала частушкой, лихо отплясав:

Бросил дед свою старуху,  
полюбил он молодуху.  
Энто не чудачество,  
а борьба за качество!

Порошин устыдился, что умничает перед Фроськой, впадает в самолюбование. Он понял, что девчонке надо помочь, оказать поддержку: составить список литературы для чтения, подготовить ее к экзамену в местный институт. На работе к Порошину относились день ото дня лучше, уважительнее. Начальник НКВД Придорогин оказался человеком более проникательным, чем предполагал Аркадий Иванович. Как-то он заразмышлял вдруг на оперативном совещании:

– С тех пор как мы поручили Порошину расследование диверсий на линиях электропередач, вредительские замыкания прекратились. Что это означает, дорогие товарищи? Скорее всего Порошин вышел на преступников. Он, должно быть, вышел, ухватился за какую-то важную ниточку. Враги народа перепугались, затихли, ушли в глубокое подполье. Завенягин недавно звонил. Благодарит нас, даже выделил премии. Всем нам надо работать, как Порошин. Чтобы вредители боялись нас, не высывали носа из поганных деклассированных нор. Встанька, Порошин. Выскажи свои соображения, поделись опытом.

Порошин вспомнил о Фроське, о ее друзьях Антохе Телегине и Гришке Коровине... Правда для обмена опытом явно не годилась. Надо было что-то выдумывать, ухитриться. Он встал, прикашлянул для важности в ладошку, как это делал Придорогин, и решился на экспромт:

– Да, товарищи. Идея у меня есть. Мы много занимаемся оперативной работой, изобличаем преступников, вредителей, выполняем успешно функцию карающего меча пролетариата. А вот профилактикой, предупреждением преступлений, разъяснительной деятельностью мы занимаемся мало. Конечно, враг народа, диверсант, может засунуть в лапоть камень, окрутить проволокой и забросить данное приспособление на электрические провода. Но ведь все это может совершить по глупости и подросток – без особых антисоветских умышлений, от провинциального идиотизма, от скуки и бескультурия. Но озорной, хулиганствующий подросток не сделает этого, если мы объясним ему, чем все это может кончиться. Нам, по-моему, надо чаще выступать в бараках, на поселках, перед молодежью. Я лично этим занимаюсь. Ну, и вместе с этим надо призывать народ к революционной бдительности. Чтобы у врагов народа земля под ногами горела. А к мелким, нарушениям нужно быть чуточку терпимее...

– Погодь, стоп! – остановил Порошина начальник милиции. – Про терпимость загнул ты не туда. Но речь твоя в общем правильная, напечатаем в стенгазете.

Выступил и Алексей Иванович Пушкив:

– По-моему, рано говорить об успехах Порошина. Он увлекся, так сказать, диверсиями. А некоторые важные дела завалил. В прокуратуре появилась жалоба на НКВД от бригадмилыца, комсомольца Шмеля. Жалоба справедливая. Нас обвиняют в том, что мы до сих пор не раскрыли тайну с пропажей из морга трупа старушки. В городе продолжают ползать сплетни, будто мы забили бабку до смерти в НКВД. Слухи клеветнические, вредительские, с целью подрыва нашего авторитета. Дело с исчезновением трупа не такое уж сложное. Но Порошин не справился с поручением? Оскорбил он на днях и студентку Лещинскую, которая принесла нам антисоветскую листовку. А девушка-комсомолка старалась нам помочь...

– Да, да! – поддержал Пушкива начальник милиции. – Провалы у Порошина имеются. На прошлом совещании он заверил нас, что найдет вражескую руку, которая нацарапала антисоветскую листовку. Похвастался, похвалился, а врага народа так и не обнаружил. Да и разговорчики вел политически незрелые. Мол, не вредитель написал прокламацию, а какая-то ученица из школы. Де, мы имеем в наличии не листовку, а текст из Библии. Будто Библия – не антисоветская книга! Так выходит? Почему ползучие гады не найдены? Ответь нам, Порошин!

Лейтенант Груздев вступился за Порошина:

– Вы же сами, Алексан Николаич, велели отложить эти дела, заняться диверсиями. Да и сексотов Махнева и Разенкова вывели у нас из подчинения, перебросили на слежку за Ломинадзе.

Придорогин постучал по зеленому сукну стола своим костлявым, коричневым кулаком:

– Вообще-то так... листовка от нас не уйдет. Потребно выбирать главные направления. Сигнал есть у нас от Шмеля, что начальник прокатного цеха Голубицкий занимается вредительством. Преподавательница института сообщает о нездоровых настроениях среди студентов. А она, Жулешкова, не числится у нас в сексотах. Очень слабо у нас поставлена работа по вербовке осведомителей. В каждой рабочей бригаде, в каждой конторе, в каждом самом малочисленном коллективе должен быть наш осведомитель! Наша опора – в массах, в народе!

После оперативки Порошин принял заведующего вошебойкой имени Розы Люксембург – Мордехая Шмеля. Сексот докладывал:

– По моим наблюдениям начальник ИТК Гейнеман связан с врагами народа. Недавно ему сшил костюм портной Штырцкобер. У Гейнемана моют полы в конторе бывшие графини. Есть подозрения, что он вступает с ними в связь. Каждый вечер Гейнеман встречается, играет в шахматы с заключенным Бродягиным, по кличке Трубочист.

– Я запрещаю вам вести наблюдение за Гейнеманом, – оборвал Порошин сексота. – Работайте на объектах, которые вам поручены.

– Вы так похожи, товарищ Порошин, на Сергея Есенина. Только ростом повыше, взгляд у вас более жесткий, – заискивающе перевел разговор Шмель на другую тему.

– Вам приходилось общаться с Есениным? – насмешливо спросил Порошин, разглядывая своего скользкого помощника.

– Да-с, я ведь тоже, как вы, родом из Москвы. Видеть Есенина мне не однажды довелось.

– И где? В каком кабачке?

– Не в кабачке, а в парикмахерской. Мой папаша был парикмахером, к нему приходили Владимир Маяковский, Рюрик Ивнев, Сергей Городецкий, Николай Асеев, Сергей Есенин... Между прочим, я храню прядь его кудрей. Реликвия, так сказать!

Порошин вспомнил, как яростно и вдохновенно громил недавно Шмель поэзию Сергея Есенина в городской газете, на собрании рабочих корреспондентов:

– Товарищи, мы должны объявить войну двурушничеству! Наши местные поэты Василий Макаров, Борис Ручьев, Михаил Люгарин, Людмила Татьяничева тайком читают Есенина. Наши рабкоры переписывают стишки враждебного кулацкого писака. Давайте посмотрим: кто такой Есенин? Он сочинял стихи о Ленине: «Скажи, кто такой Ленин? Я тихо ответил: он – вы!» Вспомним и такие строки: «Мать моя – родина, я – большевик». Были хорошие строфы у сочинителя: «Эти люди – гнилая рыба, вся Америка – жадная пасть, но Россия... вот это глыба... лишь бы только Советская власть!» Ну и всем известная есенинская мечта – «задрав штаны, бежать за комсомолом». Все эти святыни Есенин предал! Он просто лгал нам! А в сущности имел всегда буржуазное нутро. Но социализм овладел умами миллионов людей, и он непобедим!

Шмелю-оратору и обличителю аплодировали Партина Ухватова, преподавательница института Жулешкова, студентка Лещинская, радиожурналистка Олимпова, бригадмилыцы Разенков и Махнев. Молочно-белое лицо Ломинадзе было усталым и безучастным, а его черная шевелюра в президиуме дыбилась, как шерсть у собаки, которая вот-вот залает. И секретарь горкома не сдержал сарказма:

– У Троицкого при упоминании о Сергее Есенине судороги начинались. Бухарин громы и молнии метал в лирика, желчью изводился. Вот и вы просветили нас, товарищ Шмоль.

– Я не Шмоль, а Шмель! – поправил секретаря горкома рабкор. – А товарищ Бухарин был и остается пока крупным теоретиком партии.

Завенягин сидел в президиуме, готовился вручить подарки рабкорам. Перед ним лежал список – на двенадцать человек. И двенадцать коробочек с наручными часами. В списке, по рекомендации Бермана, первым значился Шмель. Авраамий Павлович был поклонником Есенина, знал многие его стихи наизусть. Выступление Шмеля не понравилось директору завода, он вычеркнул «первую фамилию», но растерялся, никак не мог поставить кого-то взамен. Увидел среди сидящих в зале Порошина – и записал его.

В газете, кстати, была опубликована одна статейка Порошина, в которой он критиковал руководителей предприятий за то, что они свое разгильдяйство, нарушения техники безопасности, аварии, гибель рабочих на производстве сваливают часто на деятельность мифических вредителей. Лопнул старый, вовремя не проверенный трос – разбился в упавшей люльке монтажник... Ну, конечно, враги народа подпилили трос! Девушку убило оголенным электропроводом: вредители! Пусть их ищет НКВД! Десятки, сотни таких случаев.

Прокурору Соронину статейка Порошина не понравилась:

– Выступление ваше в газете демобилизует органы госбезопасности, социалистическую бдительность. По-вашему получается, что врагов народа почти нет.

И вдруг за эту скромную публикацию Завенягин вручает Порошину дорогой подарок – часы. В часах Аркадий Иванович не нуждался, у него свои были получше – золотые, швейцарские – подарок от отца. Поэтому часы, полученные в редакции газеты, Порошин подарил Фроське. Счастье падало на Фросю со всех сторон. Бабка подарила корыто, на котором можно было летать. Спецпереселенцы отдали почти задарма панталоны императрицы. Вот и часики

привалили подарочком. А уж про жениха и говорить нечего: заместитель начальника НКВД, в кожаной куртке, с наганом!

## Цветь шестая

Коттедж Авраамия Павловича Завенягина, расположенный на пологом прихолмье горы Магнитной, не отличался особо от соседних особняков в поселке с романтичным названием – Березки. Здесь жили иностранные специалисты, крупные руководители, начальники цехов, инженеры. Дом, выделенный для прокурора и начальника милиции, был запроектирован для жизни двух семей: с разными входами и даже разделенными садовыми участками. Прокуроро-милицейский вертеп и особняк директора завода находились поблизости и охранялись одним постовым. Охрана была бы не нужна, никто на высокое начальство не покушался, но обокрасть могли. Эпидемия воровства захлестнула страну с началом коллективизации. Государство реквизирувало сначала собственность дворян, капиталистов, купцов, церковников, управленцев, интеллигенции под революционным лозунгом «Грабь награбленное!». Грабили казаков, крестьян, нэпманов. Все разделили, все дворцы заняли, все погреба обшарпали. Бежавшие от коллективизации крестьяне шли на великие стройки социализма, становились как бы рабочими. Но, ограбленные и униженные, они сами с легкостью воровали, тащили все, что лежит плохо. На стройке крали цемент и доски, гвозди и лопаты, топоры и кувалды. На заводе тащили трубы, швеллеры, бронзовые подшипники, поршни, кокс, гаечные ключи, напильники, электролампочки. В учреждениях пропадали шапки, одежда, в конторах – бумага, карандаши, пишущие машинки. Россия превратилась в страну сплошных воров. Одни крали от нищеты и голода, другие не теряли возможности стать хоть чуточку обеспеченнее. А многие приносили домой то, что не могло никогда сгодиться. Татарин Ахмет променял за стакан махорки микрометр, украденный в инструментальном цехе. А для чего взял этот микрометр старик, продававший табак? Неужели для измерения толщины своего седого волоса? Уборщица в токарном цехе стырила штангель. Нищий, похожий на Ленина, укатил с территории завода бочку солидола. Возможно, будет намазывать на хлеб вместо сливочного масла. Цыгане были самыми разумными людьми: они похищали рельсы, продавали их вместо балок для перекрытия погребов и землянок.

Правительство с каждым годом ужесточало законы. За пучок собранных на пустом поле хлебных колосков расстреливали двенадцатилетних, опухших от голода казачат и крестьянских мальчишек, почерневших баб и стариков. По деревням прокатилось одичание и людоедство. Слава богу, в городах и на стройках такой голодухи, безумия и жестокости не было. Но духовное поле человеческих отношений, нравственности не имели отличий и в городе, и в деревне.

\* \* \*

Порошин вышел из бренчащего трамвая, направился по улочке к особняку Завенягина. День был воскресным, но отдыхать не пришлось. В НКВД выходных дней и отпусков не было уже два года. Начальство, правда, изредка позволяло себе расслабиться, отдохнуть, погулять. Но на заместителей начальника милиции это исключение не распространялось. Порошин шел в особняк директора завода не к Завенягину, а к Придорогину. Аркадий Иванович позвонил своему шефу, но его дома не оказалось. Домработница объяснила:

– Сан Николаич ушли к Авраму Палычу. Они там яблоньки сажают, деревья. И прокурор Соронин там.

Настроение у Порошина было паршивым. Предстояло срочное вскрытие могилы, эксгумация трупа. Привыкнуть к этому невозможно. Он уже представлял, как его будет тошнить от смрада разложившегося трупа. Но такова уж работа, профессия. В то же время светилося



и чувство удовлетворения: он узнал, где находится тело исчезнувшей из морга старухи. Надо было лишь получить право на арест старика Меркульева Ивана Ивановича, провести обыск и вскрыть могилу. Но Меркульев – герой Гражданской войны, орденоседец, воевал в отряде Каширина, награжден именным оружием, любимец Блюхера. У него дома в гостях бывали и секретарь горкома партии Ломинадзе, и Завенягин, и Орджоникидзе. Писатели к нему наезжали – Аркадий Гайдар, Виктор Шкловский, Николай Богданов, Лидия Сейфуллина. Однако авторитет и заслуги не избавляют человека от подчинения законам, ответственности. Деда надо было арестовать хотя бы на несколько дней, для допросов, выяснения некоторых обстоятельств.

Сторож морга признался, что вечером, перед тем как исчез труп, к нему приходил дед Меркульев с литром самогонки. Патологоанатом тоже дал правдивые показания: вскрытия трупа он не производил. Акт о вскрытии подписал, поступая так часто. Родственники умерших обычно возражают, не соглашаются на вскрытие тел, усматривая в том кощунство. Да и приплачивают патологоанатому за попушения: крупой, салом, картошкой, а то и деньжонками.

Проворным оказался и ушастый осведомитель Мордехай Шмель. Выполняя поручение Порошина, он обнаружил на кладбище рядом с прежними захоронениями из рода Меркульевых свежий могильный холм с деревянным крестом. Сержант Матафонов уже провел предварительный допрос. Дед Меркульев признался, что похоронил свою старуху. Тайна превратилась в обычный пшик, в провинциальную трагикомедию. Оставалось еще нелепое заявление Шмеля, будто дед Меркульев спрятал в могиле вместе с похороненной старухой двенадцать бочат золота, двадцать – серебра и старинный кувшин с драгоценными камнями, кольцами, серьгами.

Порошин позабавился в разговоре с бригадмилем:

– Дорогой Мордехай, докладная осведомителя должна быть четким документом, а не литературным произведением. Надо кратко и доказательно указывать источники своих утверждений: свидетелей, детали, конкретные наблюдения, факты, высказывания лиц. Вы же просто и без оснований заявили, будто в могиле – золото, серебро, кувшин с драгоценными камнями. Откуда вы все это почерпнули? Из русских народных сказок?

Шмель объяснил:

– За иконой, на божничке, лежит у Меркульевых самописная старинная книжица. Как я понял, это летопись, начатая каким-то священником – отцом Лаврентием еще в 1612 году. Там записи и других лиц – Бориса Машковца, какого-то Ермошки, Федоса Меркульева. Упомянуты Коровины, Телегины, Хорунжонкины, Починские, Яковлевы... Из книжицы и следует, что яицкие казаки, еще до возникновения оренбургского казачества, спрятали у Магнитной горы войсковую казну.

Порошин весьма смутно представлял, когда возникло яицкое и оренбургское казачество. Байки о кладях его вообще не интересовали. Как-то несерьезно на фоне строительства металлургического завода думать о войсковой казне казаков семнадцатого века.

– Как вам, Шмель, удалось ознакомиться с летописной книжицей? – поинтересовался Порошин.

– Так я же часто бываю у Меркульевых, готовлю вашу Фросю к поступлению в институт.

– Мою Фросю? – изумился Порошин. – Какое она имеет отношение к Меркульевым?

– Простите, Аркадий Иванович, но ведь по деду и бабке ваша Фрося – Меркульева! Она же внучка той старухи, которую вы разыскиваете.

У Порошина в глазах потемнело, лицо покрылось красными пятнами. Господи! Какой же он сыщик? С девчонкой дружит, полюбил ее. И ничего почти не знает о ней. Да, Фрося живет в общежитии. Но ведь устроилась она туда, чтобы к работе поближе быть. А родственники у нее в станице. Знал Порошин, что есть какие-то родичи у Фроси в старом поселке. Да не

удосужился познакомиться с ними. А теперь вот пакость возникает: в канун свадьбы, женитьбы на Фросе, надо арестовать ее родственников.

Порошин решил не огорчать Фроську, не говорить, что у ее деда проведут обыск, вскроют могилу бабки. В конце концов, обыск ведь проведут для формальности. Деда дня через три-четыре отпустят. А могилу зароят, составив акт, что гражданка Меркульева не исчезла, а умерла. И все закончится хорошо. Потом будет свадьба. Виктор Калмыков и Эмма Беккер тоже поженятся. За одним столом погуляем. Придорогин обещает отпуск для медового месяца. Все счастье впереди. Детишки народятся. Фрося будет читать сказочки летописные про казачий клад...

Аркадий Иванович шел к особняку Завенягина для встречи с Придорогиным и подумывал о том, что обыск у старика Меркульева надо, пожалуй, отменить. Как-то бы убедить начальника милиции. Мол, необходимости в том нет, ограничимся вскрытием захоронения и закроем дело. А все силы бросим на розыск того, кто нацарапал антисоветскую листовку.

Метров за двести до директорского коттеджа из-за кустов сирени навстречу Порошину неожиданно вышла Фроська. Она несла плетеную из тростника корзиночку, приплясывала, золотилась на солнце своими рыжими кудрями, улыбалась и кланялась каждому телефонному столбу, каждому дереву. И каждая веснушка на ее юном лице улыбалась самостоятельно, а голубой сарафан трепыхался задорно от легкого ветра.

– Здравствуй, Фрося!

– Здравствуй, Аркаша!

– Ты как сюда попала?

– Я у Завенягиных была, стол накрывала праздничный. Ломинадзе велел из горкомовского буфета продуктов подбросить. Народу там, гостей разных – ватага: прокурор, твой начальник – Придорогин, Коробов, Боголюбов, Голубицкий, доктор Функ... Они яблоньки посадили, поливают. А ты зачем – к ним?

– Я ненадолго, к Придорогину.

– Приходи к вечеру, Аркаша. И мы попразднуем. Я у них сперла каральку копченой колбасы. Вот – смотри!

Фроська, все так же весело пританцовывая, извлекла из корзинки громадную буро-красную каральку колбасы, понюхала ее, прицокнула.

– Фрося, ты из рода тех Меркульевых? – спросил вяло Порошин.

– Из каких это тех?

– У которых бабка пропала как бы...

– Да, из тех.

– Пойдем, Фрося. Я вернусь, провожу тебя до трамвая.

– Ты какой-то, Аркаша, растерянный. У тебя на работе что-то?

– Фрося, если к вам, к деду твоему придут в хату с обыском, ничего такого не найдут?

– Ни, пуцай приходят. Дома у нас ничего такого нет.

– А разве тебя это не обидит?

– Ни, у нас ить всех в станице обыскали. Некоторых по два раза.

– На обыск могут послать и меня, Фрося.

– Такая уж у тебя поганая работа. Што уж кому бог даст. Но я ить люблю тебя, Аркаша, жалею. Можно сказать – стремлюсь неосознанно к качественному воспроизводству человечества.

Озорство Фроськи не оживило Порошина. Какое-то нехорошее предчувствие давило душу, сердце. Фроська вскочила на подножку отходящего трамвая, поиграла прощально пальчиками. Нищий, похожий на Ленина, вытащил потихоньку из корзинки Фроськи колбасу. Но она отобрала у вора каральку, шлепнула его по лысине. Порошин постоял понуро и побрел на

встречу с Придорогиным. Аркадий Иванович решил, что он поступил верно, не сказав ничего Фросе о предстоящем вскрытии могилы, в которой была похоронена ее бабка.

В саду у Завенягиных, прямо под открытым небом, был изукрашен стол – бутылками, фужерами, жареным поросенком, зарумяненными курами, крабами в сметане, лососевой икрой. Город готовился к международному конгрессу геологов, поэтому на склады завезли деликатесы. Избытка в этих яствах не было, но на два-три банкета можно было взять. Завенягин спиртного почти не употреблял, но по случаю праздников – не отказывался. Ломинадзе, напротив, любил выпить и без повода. За столом все были навеселе. Придорогин целовал инженера Голубицкого. Лева Рудницкий читал стихи Павла Васильева. Гейнеман жестикулировал перед Виктором Калмыковым и Эммой Беккер. Начальник доменного цеха спорил о чем-то с Чингизом Ильдымом.

– Ты, Коробов, дурак! – выкрикивал ему Ильдым.

Прокурор Соронин, Завенягин и Ломинадзе размышляли, где взять официантов и поваров для обслуживания иностранцев, которые приедут из Англии, США, Германии, Франции, Италии, Бельгии...

– Оpozоримся! – твердил прокурор.

– Давай проведем испытание, – предложил Завенягин.

После ухода Фроськи стол с гостями обслуживала рябая баба, домработница Завенягина – Глафира. Когда-то она работала официанткой в ресторане «Атач», вроде бы имела опыт по сервису. Завенягин попросил:

– Глафира, накрой стол заново. Сначала принеси ложки и вилки, разложи их перед гостями. Но представляй, Глафира, что это не мы сидим, а важные гости, иностранцы.

– Откель иностранцы? – спросила Глафира.

– Из Гваделупы! – сгрубил прокурор.

– А вы не выражайтесь. А то буздырыкну по губам, хоть вы и прокурор! – уперла руки в боки Глафира.

Авраамий Павлович успокоил свою домработницу:

– Глафира, сделай, пожалуйста, то, о чем тебя попросили.

Ломинадзе ткнул пальцем в прокурора:

– А ты знаешь, откуда ты приехал?

– Откуда? – пьяненько поинтересовался Соронин.

– Из Гвадежопы! – вполголоса продекламировал Ломинадзе. Завенягин тоже пытался уязвить прокурора, видя, что он выплатил червонец за остроумие секретарю горкома партии:

– Гоголю надо бы заплатить, Иван Петрович.

– За что? – ословело покачулся прокурор.

– А у него фраза классическая: есть один порядочный человек у нас в городе – прокурор, да и тот, если признаться честно, свинья!

– Это мы уже слышали!

Глафира сошла с крыльца напыщенно, картинно, неся впереди себя серебряный поднос. Глаза ее были устремлены в какую-то неведомую даль, должно быть – в коммунизм. Она раскладывала ложки и вилки, будто совершала магический обряд. Возле Завенягина Глафира споткнулась, уронила ложку на землю, но тут же подняла ее, вытерла подолом своей юбки, положила с извинительным поклоном на стол.

– Хватит! – хлопнул в ладоши Ломинадзе. – Иди, Глафира, отдыхай!

Гости хохотали. Виссарион Виссарионович говорил:

– Представляешь, Авраамий? Сидят иностранные гости за столом. А наша русская баба роняет ложку, вытирает ее подолом своей грязной юбки и подает с реверансом: мол, кушайте на здоровье!

– Я бы не стал драматизировать ситуацию. До конгресса еще далеко. Можно создать курсы поваров, официантов.

Ломинадзе вскинул руки к небу:

– Вай! Кто будет преподавать? Кто может у нас в городе нарезать осетрину? Кто может приготовить приличное блюдо, салат? Кто умеет красиво и с достоинством обиходить стол? Этикет obsługi – это искусство!

Придорогин, видимо, все время прислушивался к разговору Ломинадзе и Завенягина. Он встал, поднимая фужер:

– Я знаю, кто может обслужить международный конгресс!

– Кто? – заинтересовался Ломинадзе.

– У меня на спецпоселках и в колонии у Гейнемана есть царские повара, фрейлины разные, графини. Мы дадим их на месячишко вам. Пользуйтесь нашей добротой. Они у нас на черных работах: роют котлованы, подносят кирпич. Так сказать, искупают вину, перевоспитываются.

Войдя через калитку, Порошин увидел во дворе директорского особняка обшарпанную легковушку своего начальника. Придорогин часто водил автомашину сам, не любил ездить с шофером. Завенягин заметил нового гостя:

– Проходи, Аркадий. Садись за стол.

Ломинадзе наполнил фужер коньяком:

– Пей штрафную!

– Можно, разрешаю! – крикнул Придорогин.

– Нельзя, у меня дело, – отклонил фужер Аркадий Иванович.

– Отойдем в сторонку, – взял под локоть Порошина начальник НКВД, уводя своего заместителя в дальний угол сада, за кусты сирени.

– Докладывай, но коротко, по сути.

Порошин объяснил, что тайны с пропавшим трупом больше не существует. Но для формальности могилу придется вскрыть. Он пытался внушить своему начальнику, будто нет особой необходимости производить обыск в доме старика Меркульева. И для разрядки пересказал нелепицу, сочиненную бригадмилем: о бочках с казачьим золотом, о кувшине с драгоценными камнями.

Придорогин присел на огуречную грядку, начал перематывать сбившуюся портянку. От грязной портянки веяло мерзопакостной вонью.

«У него лицо и шея – коричневые, руки – коричневые, а ноги – белые!» – отметил про себя Порошин.

Язык у Придорогина хмельно заплетался, но рассуждал он логично:

– Ты, Порошин, мальчишка! Чему тебя учили в Москве? Знамо, что никакого казачьего кладка нет. Бочек, набитых золотом, не отыщем. А вот горшок с царскими золотыми червонцами может оказаться в могиле старухи. Несколько желтых монет мы у штрунди на базаре отобрали. И ошибку совершили, не обыскали притон. Обыск сделаем сегодня же. Но сначала поедem на кладбище, вскроем захоронение. Вот черт! Как я поведу машину? Я же надрызгался в стельку. Пьян – в дугу!

Из-за куста вышел Голубицкий, он слышал последние слова начальника милиции. И предложил свою помощь:

– Давайте, я поведу вашу эмку. Я же почти не пил.

– Разве ты водишь машину? – сунул наконец ногу в сапог Придорогин.

– Прокачу с ветерком.

– Но мы едем на кладбище, будем вскрывать могилу, – пояснил Порошин.

– Ну и что? Это даже интересно. Я буду у вас понятым, свидетелем.

– В могиле может оказаться фугас, мина, – начал Придорогин шутливо пугать Голубицкого.

– А я специалист и по взрывным устройствам, опыт по службе в армии.

Голос Придорогина становился все трезвее и резче:

– Эй, Функ! Поехали с нами на эксгумацию. Нам нужен врач.

– Но у меня другой профиль, Сан Николаич, – пытался отвертеться Функ.

– Сойдет и твой профиль! В машину – арш! А тебя, Порошин, мы забросим в горотдел. Ты привезешь на кладбище бригадмилыцев и родственников старухи. На воронке приедешь.

– Вы куда? – спросил Завенягин идущих к машине Придорогина, Порошина, Голубицкого и Функа.

Начальник НКВД поправил портупею:

– У нас дело неотложное. Эй, прокурор! Хватит гулять-пиянствовать. Вставай, поехали с нами!

– В бой за родину – всегда готовы! – выпятил по-петушиному грудь Соронин.

На кладбище Придорогину с его командой пришлось болтаться без дела около двух часов. Не подъехал воронок с Порошиным, бригадмилыцами, родственниками тайно похороненной старухи. Начальник НКВД ковырялся стеблем травинки в своих редких пожелтевших от курения зубах, бранился:

– Скоты! Ни на что не способны. Им не в милиции работать, а в гортопе. Гнать надо всех в шею!

– Может, машина сломалась? – предположил прокурор.

Действовал на нервы и доктор Функ. Молодой врач, а несознательный. Зудит: мол, я эксгумацию делать не стану! Да никакая эксгумация и не нужна, потребно подписать лишь протокол, что в гробу лежит мертвая старуха, останки трупa. Надо бы проверить этого Функа. Говорят, он дальний потомок какого-то художника – Рембрандта или Ренуара, кто их разберет? Инструкция к тому поступила: арестовать всех, кто имеет родственников за границей.

– Функ, у тебя есть родственники там, за рубежом? – вытащил револьвер из кобуры Придорогин.

– Не знаю, может быть, есть.

– А Порошин говорил, что ты потомок какого-то Ренуара...

– Не Ренуара, а Харменса ван Рейна Рембрандта. Но документально я пока не могу сие доказать.

– А твой Рембрандт был эксплуататором?

– Нет, Рембрандт был сыном мельника.

– По-твоему, мельник – не эксплуататор? Всех мельников мы, Функ, раскулачили.

Голубицкий начал просвещать Придорогина:

– Голландский художник Рембрандт – гений, реалист. Он первым стал изображать на своих картинах нищих, крестьян. А в «Ночном дозоре» воспел, можно сказать, наше НКВД...

Прокурор Соронин добавил:

– У нас в городе потомков князей, графов и разных бывших больше, чем в Москве и Ленинграде. Зачем всю эту грязь посылают к нам?

– Едут! – встрепенулся Функ.

Черный воронок выкатился из-за бугра, переваливаясь и покачиваясь на ухабах. За рулем был Разенков, рядом с ним – Порошин. Они остановили машину метрах в десяти от могилы, выскочили из кабины, открыли заднюю дверь воронка.

– Вас только за смертью посылать, – недовольно проворчал Придорогин.

– Шофера не нашли, как в воду канул, – оправдывался Порошин. – Хорошо вот, Разенков выручил, сел за руль.

– Кого еще привез? – поинтересовался прокурор.

– Старика Меркульева, бригадмилыцев – Шмелья и Махнева, Томчук отказался. Да и болеет он: после того как его избili хулиганы, оглох.

– Достаточно! Никто больше и не нужен. Вскрывают могилу! – распорядился начальник НКВД.

Захоронение раскапывали бригадмилыцы Шмель, Разенков и Махнев. Им приходилось участвовать и в расстрелах. Имели они право носить оружие – наганы, чем весьма гордились. Перед исполнением смертных приговоров работники НКВД и бригадмилыцы получали по стакану водки, а после – по тридцать рублей. Шмель от водки обычно отказывался, отдавал ее Разенкову или сержанту Матафонову. И глаза Шмель перед выстрелом закрывал. Поставит врага народа на краю ямы, ткнет дулом револьвера в затылок, зажмурится и нажимает на спусковой крючок.

Сержант Матафонов заметил это как-то и обругал Шмеля:

– Ты што? Так приговоренный и до твоего выстрела может живым в могилу шастануть. Опося вылезет. Стрелять нужно наверняка! Не в человека ить стреляешь: во вредителя, выродка, в гадину!

В раскопках могил бригадмилыцы никогда не участвовали, не приходилось. Впрочем, из присутствующих никто этим раньше не занимался. Ни прокурор, ни начальник милиции, ни его заместитель. Познания в этом у них были книжные, из лекций, инструкций. Старик Меркульев не обратил внимания на приказания и угрозы, не взял в руки лопату. Его приторочили наручниками к железной могильной оградке по соседству. Протестовал и Шмель:

– Копать буду, помогу гроб вытащить. И отойду. Хоть стреляйте, открывать гроб не стану.

– А сколько нам заплатят? – очищал Разенков камнем лезвие заглиненной лопаты.

Махнев раскапывал могилу молча, споро, аж земля к облакам взлетала. Голубицкий насвистывал популярный мотивчик. Доктор Функ ходил по кладбищу, собирая миниатюрный букетик незабудок, чтобы не участвовать во всех актах абсурдного спектакля. Придорогин изредка оборачивался, задавал вопросы деду Меркульеву:

– Фугаса, мины в могиле нет? А? Что молчишь? Влип, старый хрен. Золотишко сюда закопал? И старуху-то поди сам угробил. Притворилась она у нас мертвой. Мы ее по глупому недосмотру отвезли в морг. А ты, хрыч, подпоил сторожа морга, приклепнул свою благоверную старушенцию. И закопал тайком. Милиция, милый мой, все знает!

Старик Меркульев молчал. Бригадмилыцы раскопали могилу, начали вытаскивать гроб.

– Тяжелый! Там что-то не то! Помогите!

– Ой, веревка трещит!

Прокурор Соронин, Придорогин, Порошин и Голубицкий вцепились в плетеные из конопли канаты, помогли бригадмилыцам.

– Похоже, гроб действительно набит золотишком, – сбросил на ковыли фуражку начальник НКВД.

Гроб с трудом оттащили от могильной ямы. Прокурор заважничал, почувствовал себя главным лицом.

– Будем вскрывать. А где врач?

Доктора Функа не видно было, ушел куда-то за бугры. Решили подождать, когда он вернется. И к тому же Придорогин не торопился, любил наслаждаться последними минутами успешных, победных операций. Он часто оттягивал последний шаг, продлевал удовольствие предвкушением.

Вот и сейчас – заметил метрах в сорока суслика. Зверек возвышался на задних лапках, стоял на ковыльном бугорке, смотрел на людей с любопытством. Придорогин вскинул револьвер:

– Гляньте, как я его срежу, с первого выстрела.

Целился он долго, занимаясь тем же: предвкушая успех, радость от попадания в цель. Прогремел выстрел, пуля подняла фонтанчик пыли в сантиметре от суслика. Зверек испуганно нырнул в нору, но через минуту появился вновь. Придорогин опять начал прицеливаться, но прокурор остановил его:

- Так не честно! Давайте стрелять по очереди. Правда, я револьвер не взял с собой.
- Тоже мне – прокурор. Пистолет забывает взять. Бери, стреляй из моего.

Соронин выстрелил и промазал. Порошину было жалко зверька, поэтому стрельнул левее, по маковкам татарника. Суслик к удивлению всех появлялся после каждого выстрела вновь.

- Мазилы! – гоготал начальник НКВД, будто сам стрелял точнее.

Бригадмилыцы палили из своих револьверов с необыкновенным азартом, вскрикивая, повизгивая. Шмель стрелял последним. Он тщательно прицелился, закрыл глаза, нажал на спусковой крючок плавно. И выстрел у него прозвучал по-другому: сухо, коротко. Пуля попала суслику в брюшко. Зверек подпрыгнул высоко, обрызгав кровью весь ковыльный бугорок. Прокурор закричал восторженно:

- Вот это класс! С закрытыми глазами бьет. И точно – в цель!
- Ерунда, случайно попал, – не согласился начальник милиции.
- Могу еще раз, на спор, – захвастался Шмель.

Придорогин показал на деревянный крест. В центре креста была видна латунная рамочка с фотографией девочки под стеклом.

- Стреляй по фотокарточке. Попадешь – дам тридцатку.

Шмель опять прицелился, закрыл глаза, выстрелил. Зазвенело разбитое стекло, вздрогнул крест.

- Нехорошо как-то, люди обидятся, – дернул за рукав прокурора Порошин.

Придорогин отмахнулся:

– О чем говорить? Копеечное стеклышко, копеечная фотокарточка. Да и никто ведь не видел.

Начальник НКВД обернулся к железной оградке, за которую был прикован наручниками старик Меркульев. И остоленел, побледнел, раскрыв рот. Отвисшая челюсть Придорогина дрожала, он не мог произнести и слова. На перекладине могильной оградки висели сломанные наручники. Меркульев исчез. Осталась от него только казачья, выгорелая от солнца и времени фуражка.

– Шмель, охраняй гроб! Глаз не своди с него. А мы старика догоним. Не мог он уйти далеко. Порошин, беги туда! Вы – в ту сторону! А мы – сюда! – распределил быстро роли поиска начальник милиции.

Минут через двадцать к Шмелю подошел доктор Функ:

- Что за стрельба была? А где остальные?
- Арестант утек, – объяснил Шмель. – Все побежали ловить его.
- И со мной чудо приключилось, – присел Функ на траву.
- Какое чудо?

– Подлетела ко мне в корыте старушка. И говорит она мне: «Садись, не бойся!» Сел я в корыто с бабушкой. И взлетели мы на корыте в облака.

- Вы пьяны, доктор, – усмехнулся Шмель.
- Да, выпили мы лишнего. Но на корыте я летал!

Придорогин, Порошин, Соронин и все остальные бегали и кружили по окрестности почти час, но утеклеца так и не поймали, не увидели. Вернулись потные, растерянные. Навстречу им шагнул Шмель:

– Товарищ начальник, я открыл гроб. И снова закрыл. Стою вот, охраняю. А доктор Функ пьяный, уснул.

– Что там? – отбросил крышку гроба Придорогин.

В гробу лежали в разобранном виде хорошо смазанный и залитый парафином пулемет, винтовка, четыре ящика с патронами, маузер и офицерская шашка с позолоченным эфесом. А старушечьего трупа не было. Не обнаружили и золота.



## Цветь седьмая

Обыск в пятистенных, крытых черепицей хоромах Меркульева ничего не дал. Сержант Калганов пристрелил меркульевскую собаку. Матафонов разворотил печь. Лейтенант Груздев повыдергивал из горшков герань. Бригадмилец Шмель изрубил топором иконы. Не оказалось на божничке старинной рукописной книжицы, в которой говорилось про казачий клад. Кто-то предупредил Меркульевых о предстоящем обыске. Фроську арестовали, морили четыре дня голодом, били нещадно. Порошина пожалели, однако. Придорогин отправил его в командировку, задание дал: выследить и раскрыть в Свердловске притон, связанный с магнитогорской шайкой воров. Крали в Магнитке часто пишущие машинки. Оказалось, что увозили их в Свердловск, где разбирали на запчасти, а то и продавали в первозданном виде.

Свердловские чекисты недоумевали: почему на раскрытие весьма заурядного дела с кражей пишущих машинок приехал заместитель начальника милиции? Можно было вообще никого не присылать. Но гостю были рады, он – москвич, общался с Менжинским, Ягодой, Артузовым. Есть о чем с ним поговорить.

Порошин уехал из Магнитки в сомнамбулистическом состоянии, подавленный. Он хорошо представлял, как будут допрашивать его Фроську. Она может не выдержать... Признается, что сообщала ему, Порошину, о поджоге степи, о диверсиях Антохи Телегина и Гришки Коровина на линиях электропередач. И окажется, что он, Порошин, является укрывателем вредителей, врагов народа, сообщником контрреволюционеров. Да и о предстоящем обыске он предупредил Фроську, совершив предательство. За это все полагалась высшая мера наказания. Над головой повисла гибель.

Но опасения Порошина были напрасными. Фроська на допросах визжала, кусалась, скулила, когда ее избивали. И ничего не говорила. Правда, она призналась, что украла с банкета в завенягинском особняке каральку копченой колбасы. Через четыре дня горкомовскую буфетчицу пришлось освободить. Очень уж бушевал Виссарион Виссарионович Ломинадзе. И Завенягин просил прокурора Соронина проконтролировать ход следствия. Прокурор посоветовал Придорогину освободить девицу. Мол, дети за действия родителей, бабушек и дедушек не отвечают.

Синяки и ссадины с Фроськи через неделю сошли. Она снова воцарилась в горкомовском буфете, зазолотилась, заулыбалась. В один из будних дней Ломинадзе и Завенягин обедали в буфете запоздало. Фроська подала им фасолевый суп, бифштексы с рисом, по стакану яблочного компота. И молчаливо кружилась возле стола.

– Ты о чем-то хошь попросить, Фрося? – догадался Ломинадзе.

– Да уж, извините. Вещи мои из НКВД не вернули.

– Пулемет? – пошутил Завенягин.

– Труссы.

– Какие трусы?

– Мои, то есть не мои, а панталоны императрицы, шелковые.

– Разве ты их не продала тогда, на базаре?

– Не продала, в сундуке упрятала.

– А кто обыском руководил? Придорогин?

– Груздев, Пушкив. Два сержанта были – Матафонов и Калганов. И сиксот Шмель. Собаку они пристрелили, гусей унесли, поросенка. Двух овец зарезали. И сапоги хромо-вые украли, два рушника, одеяло стеганое, чайник фарфоровый. И забрали рейтузы царицы. Ничего мне не жалко, но панталоны пушай возвращут.

– А ты жалобу на них напиши, прокурору, – подсказал Завенягин.

После обеда Ломинадзе и директор завода ушли вместе. Виссарион Виссарионович тяготился тем, что у него не складываются отношения с Авраамием. Завенягин был всегда как бы настороже.

– Слушай, Авраамий. Ты читал когда-нибудь письмо Рютина? – достал из сейфа Ломинадзе несколько листов машинописного текста.

– Краем уха о содержании слышал, но не читал, – честно признался Завенягин.

– Возьми, ознакомься.

Авраамий Павлович не понял, что означает это слово «возьми». Можно ведь взять и унести домой на какое-то время. А можно взять в руки и прочитать здесь, не выходя из кабинета. Завенягин вспомнил о предупреждении Молотова: не лезь в политические интриги! Но и любопытство жгло. О письме Рютина так много шепотков, разговоров. Завенягин взял из рук Ломинадзе листы с текстом, уселся поудобнее, начал читать:

«Партия и пролетарская диктатура заведены Сталиным и его сектой в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана и клеветы, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсекал и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, встал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола.

Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение реальной заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляцию, рост цен и падение стоимости червонцев, авантюристическая коллективизация с помощью раскулачивания, направленного фактически главным образом против середняцких и бедняцких масс деревни, и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок привели страну к глубочайшему экономическому кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду... В перспективе – дальнейшее обнищание пролетариата. Всякая личная заинтересованность к ведению сельского хозяйства убита. Труд держится на голом принуждении и репрессиях. Все молодое и здоровое из деревни бежит, миллионы людей, оторванные от производительного труда, кочуют по стране, перенаселяя города. Остающееся в деревне население голодает. В перспективе – дальнейшее обнищание, одичание и запустение деревни.

На всю страну надет намордник – бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каждого крестьянина и рабочего. Всякая революционная законность поправа. Учение Маркса и Ленина Сталиным и его кликой бесстыдно извращается и фальсифицируется...»

На полях возле этих строк было написано незнакомым для Завенягина почерком: *«Ты, Рютин, сам – раб идеологии! Все зло идет не от Сталина, а от Маркса и Ленина – самых гнусных людоедов!»* Завенягин покачал головой осуждающе, снова принялся за рютинский текст:

«Наука, литература, искусство низведены до уровня низких служанок и подпорок сталинского руководства. Борьба с оппортунизмом опошлена, превращена в карикатуру, в орудие клеветы и террора против самостоятельно мыслящих членов партии. Права партии, гарантированные Уставом, узурпированы ничтожной кучкой беспринципных политиканов.

Демократический централизм подменен личным усмотрением вождя, коллективное руководство – системой доверенных людей.

Всякая живая, большевистская партийная мысль задушена угрозой исключения из партии, снятием с работы и лишением всех средств к существованию. Все подлинно ленинское загнано в подполье. Подлинный ленинизм становится в значительной мере запрещенным, нелегальным учением. Партийный аппарат в ходе развития внутрипартийной борьбы и отсекающей одной руководящей группы за другой вырос в самодовлеющую силу, стоящую над партией и господствующую над ней, насилующую ее сознание и волю. На партийную работу вместо наиболее убежденных, наиболее честных, принципиальных, готовых твердо отстаивать перед кем угодно свою точку зрения членов партии чаще всего выдвигаются люди бесчестные, хитрые, беспринципные, готовые по приказу начальства десятки раз менять свои убеждения, карьеристы, льстецы и холуи.

Печать – могучее средство коммунистического воспитания и оружие ленинизма в руках Сталина и его клики – стала чудовищной фабрикой лжи, надувательства и терроризирования. Ложью и клеветой, расстрелами и арестами, всеми способами и средствами они будут защищать свое господство в партии и в стране, ибо они смотрят на них как на свою вотчину.

Ни один самый смелый и гениальный провокатор для гибели пролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма, социалистического строительства и социализма, для взрыва их изнутри не мог бы придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики.

Позорно и постыдно для пролетарских революционеров дальше терпеть сталинское иго, его произвол и издевательство над партией и трудящимися массами. Кто не видит этого ига, не чувствует этого произвола и гнета, кто не возмущается им, тот раб...»

Авраамий Павлович Завенягин дочитывал концовку рютинского манифеста с чувством недовольства и протеста. Он понимал, что почти все положения Мартемьяна Рютина верны. Но ведь выводы ошибочны: кто не возмущается, тот не раб! А как можно возмутиться? Каким образом? Никакого ощущения реальности! Рютин – сам авантюрист! А ведь был секретарем Иркутского губкома РКП(б), возглавлял обком партии в Дагестане.

Завенягин встал, бросил крамольные листы рютинского послания на стол, перед Ломинадзе:

– Виссарион, ты мне эти бумаги не показывал! Я их не читал! И по-дружески советую: сожги!

– Ты, однако, трус порядочный, Авраамий.

– Я реалист, Виссарион. И у каждого – своя судьба, своя звезда. Мне надо думать о мартенах, о домнах, о прокатных станах. Россия не станет сильнее, ни один человек не станет свободнее и богаче, оттого что ты держишь в сейфе эту рютинскую бумажку. И вообще, если твой горком завтра провалится под землю, металлургический завод не остановится.

С этими словами и вышел Завенягин от секретаря горкома партии. Прекраснодушный Ломинадзе никак не мог понять, почему Авраамий занервничал, заговорил жестяным голосом. И подумал: «Боится, что вдруг меня арестуют, найдут при обыске обращение Рютина. Полагает Авраамий, будто я могу его выдать, заявить пакостно: мол, и Завенягин сие письмецо читал с наслаждением! Но ведь меня не арестуют. Кобе достаточно моего унижения – ссылкой в Магнитку. Не соперник я ему». Тревожило одно: Сталин узнал, что он, Ломинадзе, голосовал на съезде против... вычеркнул в бюллетене фамилию вождя. Прощения теперь тоже не будет. Коба высказал обиду: «Ты, Бесо, предал меня. Ладно, поезжай спокойно, бог тебе судья!»

Сатана партии – Генрих Ягода – стоял рядом, молчал. Перед самым отъездом в номер гостиницы, где жили Хитаров и Ломинадзе, зашли Микоян, Енукидзе и Ягода. Распили две бутылки коньяка. Генрих Ягода подшучивал:

– Ты почему не оправдывался перед Кобой? Сказал бы, мол, ошибка! Мол, я не голосовал против!

Ломинадзе заупрямился:

– Зачем врать? Я вычеркнул Кобу.

– Не строй из этого трагедию, – жевал пластик лимона Енукидзе.

– А я не вычеркивал! – веселился Хитаров.

– И это нам известно, – обнял его Ягода.

Анастас Микоян вытащил из портфеля большой бумажный сверток с яблоками:

– Возьми, Бесо. Подарок для твоего сынка-малыша. А Нино прекрасной – поклон!

Ягода думал о Микояне: «Почему тебя не расстреляли, армяшка? Сидел ты в одной камере с двадцатью шестью бакинскими комиссарами. Их поставили к стенке, а ты остался живым?»

Серго Орджоникидзе подбадривал печального Ломинадзе:

– Не скисай, Бесо. Все будет хорошо. Помни о главной задаче: запустите там седьмой, восьмой и десятый мартен. Напомни еще раз Авраамию, что мы ждем сортовой стан «300» и мелкосортный «250». Ну и готовьтесь к съезду Советов. Выдвинь от Магнитки делегатом Марфу Рожкову – оператора со стана «500». Молодцом она! А я приеду скоро, жди. И с Авраамием дружи!

Но дружба с Авраамием Завенягиным не возникала. А после того как Ломинадзе показал ему манифест Мартемьяна Рютина, отношения и вовсе испортились. Секретарь горкома партии и директор металлургического завода на людях делали вид, будто они наиприветнейшие друзья, улыбались, жали друг другу руки, а внутренне холодели и отдалялись.

Григорий Константинович Орджоникидзе с новым приездом в Магнитку уловил отчуждение между Завенягиным и Ломинадзе. Бесо был слишком горд и самостоятелен, к исповедям не тяготел. Серго начал разговор с Авраамием, прогуливаясь возле памятника Сталину на площади заводоуправления:

– Авраамий, ни разу не удосужился спросить: почему у тебя такое архаическое имя?

– Меня, товарищ Серго, называли в честь Авраамия Палицына. Был такой писатель, келарь Троице-Сергиева монастыря.

– Что-то слышал о нем, но забыл.

– Он писал обращения к народу во времена Смуты. Пожарскому помогал. Казаков сподвигнул на разгром поляков.

Серго нахохлился. Упоминание о казаках было для него всегда неприятно. В 1919 году при рассказывании ему пришлось ликвидировать пять тысяч терских казаков. Гнали их колонной на станцию для переселения, а вагонов и паровоза не было. Троцкий приказал расстреливать всех подряд: и стариков, и женщин, и детей. Пятитысячную партию казаков пришлось перестрелять из пулеметов, оставшихся порубить шашками, ибо они взбунтовались по дороге. А несколько человек не добились, они уползли ночью в горы. Так вот и остались свидетели. Да и карательный отряд после демобилизации разнес весть по всей стране. Но ведь время такое было. И в директиве, подписанной Свердловым, прямо говорилось: «Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам». И Свердлов не сам выдумал директиву, с Ильичом согласовал. Решение было коллективное, правительственное. Палку, конечно, перегнули. Ошибку допустили. Но зачем об этом вспоминать, сыпать соль на раны? К чему кричать: «Аржаникизя проклятый?» Орджоникидзе был исполнителем правительственного решения!

Серго помолчал с минуту и спросил:

– Скажи, Авраамий, почему не ладишь с Бесо?

Завенягин не стал хитрить:

– Несовместимость у нас. И Ломинадзе, по-моему, авантюрист. Недавно дал мне прочитать манифест Мартемьяна Рютина. Хранит эту опасную бумажку на работе, в горкомовском сейфе. Молотов об этом знает от Ягоды. Полагаю, то, что знает Ягода, знает и Сталин.

– Дурак! – сжал кулаки Серго Орджоникидзе.

В кабинет Ломинадзе нарком не вошел, а ворвался разъяренно, ударил Бесо по щеке.

– Ты что, Серго? Рехнулся? – отступил растерянно Ломинадзе.

– Где у тебя писулька Рютина? Дай мне ее немедленно! Я сожгу ее на твоих глазах!

– Авраамий донес? – открыл послушно сейф Ломинадзе.

Орджоникидзе налил из графина в стакан воды, руки у него дрожали:

– Авраамий не донесет. А вот Ягода уже пронюхал об этом. Давай писульку!

Ломинадзе долго рылся в сейфе, перелистывал бумаги в папках. И пожал плечами:

– Нету! Исчезла куда-то. Я заметил: кто-то в мой сейф заглядывает. Ключ сволочи подделали.

– Ты понимаешь, Бесо, кто может заглядывать в твой сейф?

– Догадываюсь.

– Я был на прошлой неделе у Кобы. Договорились, что без моего согласия не арестуют ни одного начальника цеха, ни одного директора завода, предприятия. Ягода вырубает инженерные кадры. Наносит страшный урон. Какая может быть индустриализация страны без инженерных кадров? И о тебе был разговор. Коба настаивает, чтобы тебя арестовали. Вроде бы я его отговорил.

– Ты бы, Серго, предупредил меня заранее, если решат взять.

– Добро, нависнет угроза – позвоню. Ты спросишь: «Как здоровье?» Я отвечу: «Что-то сердце побаливает!» Запомни!

– Да, да! Запомню: «Как здоровье?» – «Что-то сердце побаливает!»

## Цветь восьмая

Начальник НКВД Придорогин, с кем бы он ни говорил в своем кабинете, всегда выкладывал перед собой на стол пистолет. В милиции над этой привычкой Александра Николаевича посмеивались. Да и как не подшутить? Заходит к Придорогину, например, прокурор города. А начальник милиции револьвер из кобуры достает... Угрожающе получается. Появляется в дверях жена, а он оружие вынимает. И часто первопришельцам с гордостью говорит:

– Промежду прочим, писатель Бабель меня изобразил с точностью в сочинении своем – «Конармия». Есть у него там рассказик под названием «Соль», про солдата революции Никиту Балмашева. Я и есть тот герой, замаскированный на фамилию Балмашев. Это я застрелил бабу-мешочницу со свертком соли. Срезал я ее из винта с первого выстрела. Под ребеночка маскировала спекулянтка сверток с товаром. Но вот в газету редактору такого глупого письма я не сочинял. Немножко отступил Бабель от правды. Ну и народец – эти писаки. Что-нибудь, но приврут!

Порошин и Гейнеман хихикали над Придорогиным. Как он не понимает, что Бабель изобразил Балмашева дураком? Ведь баба везла сверток соли, чтобы выменять его, скорее всего, на хлеб. Может быть, у нее детишки с голоду пухли... Гейнеман считал Бабеля пророком:

– Он предвидел, что Балмашевы после Гражданской войны станут начальниками милиции, начнут по своему уровню творить беззаконие. Бабель предупреждал общество об опасности.

Когда начальник третьего отдела лейтенант Груздев, Пушкив и Порошин вошли к Придорогину, он вытащил револьвер из кобуры, осмотрел его, огладил и положил перед собой на газету «Правда» с портретом Иосифа Виссарионовича Сталина. Из-под газеты выполз рыжий таракан. Насекомое ползало по лику вождя, а возле губ, где газета была порвана, остановилось. Таракан пошевелил усиками и заполз в прорыв газетного листа, как бы в рот Иосифа Виссарионовича. Порошин хохотнул, смутив беспричинным смехом начальника милиции.

– Прошу быть серьезнее! – сделал замечание Придорогин.

Рыжий таракан при этих словах вылез из рта великого вождя, побегал шустро по газете и нырнул в дуло лежащего револьвера. Груздев приснул по-ребячьи, зажимая рот ладонями. Засмеялись и Порошин с Пушкивым.

– Что еще за смешки? Вы где находитесь? – попытался осмотреть себя начальник НКВД.

Вроде бы гимнастерка застегнута на все пуговицы, не прилипла нигде вчерашняя лапша. Придорогин извлек из нагрудного кармана зеркальце, снова огляделся. Лицо сажей не измазано, а подчиненные ржут. Что за напасть? В чем подвох? Какая смешинка закатилась на серьезное совещание?

– В чем дело? – ударил кулаком по столу Придорогин.

– В таракане! – пояснил Порошин. – У вас на столе таракан.

Придорогин уставился тупо на портрет Сталина. Великий вождь был строг и спокоен, не располагал к юмору. И не был похож на таракана.

– В каком таракане? – устало спросил начальник НКВД.

– В том, который залез в дуло вашего револьвера.

– Да? Чийчас выясним! – дунул Придорогин в ствол пистолета.

Но таракан не появился, не желая, видно, больше ползать по лику вождя и участвовать в совещании работников НКВД. Придорогин чиркнул спичку о коробок, бросил ее в дуло нагана:

– Вылазай, контра!

Таракан выскочил сполошно, упал на газету, забежал мельтешно. Придорогин пытался прибить его, стучал рукояткой револьвера, выбив глаза Иосифу Виссарионовичу, разворотив нос вождя, обезобразив лик великий.

- Вы его чернильницей, чернильницей! – советовал Пушков.
- Ладонкой легче прихлопнуть! – возражал Груздев.
- Отраву надо использовать, – сказал Порошин.
- А может, гранатой надежнее? – развеселился лейтенант Степанов.

Посторонним людям все это действо показалось бы кошунственным. Начальник милиции уродует портрет Сталина, а его подручные советуют использовать для уничтожения вождя не только рукоять пистолета, но и чернильницу, яд и даже гранату! Если бы кто-то сочинил донос, то Придорогина и некоторых других товарищей отправили бы на строительство Беломорского канала в качестве землекопов. Но в коллективе таковых не оказалось... Таракана Придорогин тоже не прихлопнул. Рыжая каналья ускользнула через левый глаз вождя под газету. А там уж – бог знает куда... По случайному совпадению или по предначертанию свыше в этот день у Сталина заболела голова, левый глаз сузился чуточку, стал видеть хуже, да так и не восстановился.

Когда все успокоились, Придорогин снова взял револьвер в руки, начал оперативку:

– По разнарядке, по плану, мы должны были за месяц разоблачить сто двадцать врагов народа. Арестовано восемьдесят шесть. За такое благодущие спросить могут строго. Подумайте хорошо. Был ведь сигнал на Голубицкого. Почему не довели до конца?

– Сигнал не подтвердился, – доложил Груздев. – Но у нас ведь и успехи есть. Письмо Рютина мы извлекли из горкомовского сейфа. Отчего же Ломинадзе на свободе?

– Ломинадзе вызовут в Челябинск якобы на совещание. И там зацапают. Наша задача – выявить здесь его сообщников.

В разговор вмешался и Пушков:

– Мы арестовали и расстреляли антисоветскую организацию на строительстве плотины. А главарь вредителей не арестован. Как это понимать?

Начальник НКВД вздохнул, крутнул барабан револьвера:

– Гуревича мы не можем взять без санкции сверху. Кстати, и Голубицкого без разрешения Завенягина и Орджоникидзе трудно будет арестовать. Будем ждать разрешения. Но не станем сидеть сложа руки. Плохо мы работаем, товарищи. Не оправдываем доверия партии. Москва заинтересовалась нашим найденным в могиле пулеметом. А мы убежавшего старика не можем найти. Ты, Груздев, лично займись этим делом. Следите за внучкой старика, буфетчицей горкомовской...

При этих словах Придорогин, однако, смутился. Он глянул косо на Порошина и спросил:

- Ты чем, Аркадий, занят?
- Антисоветской листовкой, как приказано.
- Отложи прокламацию до времени. Есть поважнее дело. Расследуй нападение на бригадмильцев. А листовка куда не денется.

Порошин выступил с предложением:

– По-моему, нам надо перестроиться. Сексоты у нас часто выполняют функции бригадмильцев, этим раскрывают себя, поэтому их бьют. Сексот должен быть абсолютно незаметен в массе. Мои сексоты не носят красных повязок и оружия, не ходят на дежурства, не появляются в НКВД. Исключением является один – Шмель.

Придорогин не согласился с Порошиным:

– На профиле осведомителей далеко не уедешь, Аркадий. Мы твою Лещинскую или Жулешкову не можем послать в помощь при исполнении ВМН, закапывать могилы. Осведомителей у нас много, а помощников – мало.

Дерзкое покушение на бригадмильцев всполошило весь город. Сначала хулиганы поколотили Виктора Томчука, тот в больнице лежит. А через неделю были зверски избиты и сброшены в сортирную яму сексоты-бригадмильцы Шмель, Махнев и Разенков. Они долго барахтались в экскрементах, чуть было не задохнулись в миазмах испражнений и хлорки. Яма была

глубокой. Сортир, вероятно, подожгли подростки, недели три тому назад. Пожарники тогда растащили горящие доски и перекрытие, а заполненная калом яма осталась открытой. В эту яму и сбросили ночью бандиты избитых бригадильцев.

В милицию сексоты пришли дня через три после происшествия, но от них изрядно воняло, поэтому к начальству их не пропустили. Опрос пострадавших провел сержант Калганов, да и то – не в кабинете, а во дворе.

– Сядьте подале, говном несет от вас, – указал им сержант на груды бревен. – И главное: не пересказывайте, как вы в сортирной яме плавали, а вспомните лучше приметы нападавших. Сколько их было? Во что одеты? Что говорили?

– Человек семь-восемь, – врал ублюдок Разенков.

Махнев запомнил кое-что из бандитских реплик: «Спихни труп в яму, Антоха! Жиды вниз головой бросай!» Наиболее наблюдательным оказался Мордехай Шмель, ушастый бригадильщик, осведомитель и сексот из актива Порошина:

– Бандиты были втроем, с ними девица – в белой шали. Два парня – рослые, один среднего роста – пьяный. Одного из диверсантов проститутка называла Грихой. Низкорослый бандит назвал девицу Людкой. Но та хохотала. Мол, до чего нализался! Всех Людками именует!

На месте происшествия Порошин и Калганов нашли голубую пуговицу от мужского пиджака, роговую расческу-самodelку и огрызок химического карандаша. В общем-то следов очень много. Порошин подписал акт и протокол предварительного опроса потерпевших, составленный сержантом Калгановым. Сержант Матафонов уже через день выяснил, что расчески-самodelки ладил в Магнитке один человек: Меркульев Иван Иванович. Тот самый, который числился в розыске за утайку пулемета в могиле.

Голубую пуговицу и огрызок химического карандаша взял для расследования Порошин. Пуговица для уральской рабочей среды была слишком необычной: голубая, с белыми волнистыми прожилками, изящной формы, явно иностранного производства. Придорогина больше заинтересовала расческа:

– В покушении на осведомителей участвовал старик Меркульев. Возможно, охотился за наганами. Мы его ищем по казачьим станицам – в Верхнеуральской, Анненской, а он затаился здесь, в городе!

Порошин не соглашался:

– Старик расчески продавал на базаре. Такие гребешки могут быть у многих. А вот пуговица дает более конкретное направление. Такая пуговица могла быть пришита только на светло-сером или светло-голубом костюме. Сколько у нас таких костюмов в городе? У иностранцев, у артистов... Три-четыре костюма!

Придорогин пристально впился взглядом в Порошина:

– А клички – Антоха, Гриха? Они у нас не проходили по предыдущим делам?

– Что-то не помню, – перелистывал журнал регистрации Порошин.

– В твоём распоряжении сержант Матафонов и Шмель, – сказал уходя Придорогин.

Шмель нравился Порошину с каждым днем все больше. Конечно, сексот не очень приятен внешностью – ушаст, с мордочкой летучей мыши. И суетлив, излишне услужлив, но хитер, с чутьем ищейки. Аркадий Иванович показал ему голубую пуговицу:

– Найди, Мордехай, костюм, от которого оторвана сия пуговица.

Шмель полюбопытствовал:

– А с каким делом это связано? С убийством? С кражей или вредительством?

Порошин не раскрыл карты:

– Ничего серьезного, Мордехай. Просто один тип к моей Фроське пристаёт. Надо бы его проучить.

– Будем искать! – взял под козырек клетчатой кепки Шмель.



Порошин был доволен рассуждениями Шмеля. Он повторил почти слово в слово то, что говорилось Придорогину. Но при своей наблюдательности назвал и фамилии:

– К обычному костюму такие пуговицы не пришьют. Они будут выглядеть нелепо. Костюм должен быть светло-серым или голубым. У нас в городе пять-шесть костюмов такой расцветки: у начальника стройки – Валериуса, у поэта Бориса Ручьева, у директора театра Михаила Арша, у Левы Рудницкого и Виктора Калмыкова.

Порошин подкорректировал наводку:

– Обрати внимание, Мордехай, на Ручьева. У него несколько приводов в милицию, хулиган, бабник. И, говорят, он прихлестывает за Людой Татьяничей. Ему сам бог велел называть всех девиц Людками.

Арестовать Ручьева было не так просто, хотя его недавно исключили из комсомола за избиение молодой поэтессы Нины Кондратовской. Крупный критик Селивановский опубликовал в «Литературной газете» хлесткую, изничтожительную статью против пиита, намекая по Горькому: от хулиганства до фашизма – один шаг! Но Ломинадзе и Завенягин выступили в защиту молодого литератора столь решительно, что прокуратуре и милиции пришлось отступить.

– У Бориса Ручьева останутся для поколений не скандалы, а строки: «Мы жили в палатке с зеленым оконцем, промытой дождями, просушенной солнцем», – убеждал Завенягин.

Порошин не любил Ручьева, считал его стихотворцем примитивным, ограниченным, спекулирующим рабочей романтикой. И обрадовался, когда Шмель сообщил на другой день:

– Пуговица, Аркадий Иванович, от костюма Ручьева. Значит, он и есть приставатель к вашей Фросе. В дружках у Ручьева – поэты Мишка Люгарин и Васька Макаров, доктор Функ, мартеновцы Коровин и Телегин.

Аркадий Иванович искренне похвалил бригадмилца:

– Молодец, Мордехай! С твоими способностями надо не вошебойкой заведовать, а работать в уголовном розыске. Буду, наверное, ходатайствовать о зачислении тебя в штат НКВД. У тебя дарование сыщика!

Однако Аркадий Иванович не стал докладывать начальству и протоколировать, что обнаружен костюм, от которого оторвана голубая пуговица. Упрятать за решетку стихотворца-бузотера можно. Но кто с ним участвовал в нападении на бригадмилцев? Настораживали имена или клички: Антоха, Гриха. Уж не Фроськины ли это дружки – Антон Телегин и Григорий Коровин? На самодельной роговой расческе нацарапаны две буквы: ГК. И что за девица была в банде? У Фроськи есть белая шаль. Неужели она влипла в эту грязь? И какая жестокость – попытаться утопить людей в яме с испражнениями! Бригадмилцы рискуют жизнью, ловят воров, бандитов, вредителей, врагов народа, задерживают нарушителей, защищают народ. И не за получку, не за деньги. Миша Разенков работает электромонтером, Виктор Томчук – слесарем в депо, Миша Махнев – рабочий, Мордехай Шмель заведует вошебойкой. А мы, чекисты, относимся к своим помощникам часто с каким-то барским презрением...

Аркадий Иванович начал наводить справки о Коровине и Телегине. Где они были в ночь, когда бандиты избивали бригадмилцев? Оказывается, что Телегина призывали на службу в Красную Армию. Он уже отправлен с эшеленом на Дальний Восток. Но отбыл он через два дня после той злополучной ночи, вполне мог быть участником преступления. Коровин работал подручным сталевара, вступил в комсомол. Порошин приехал в мартеновский цех, попросил сменного мастера:

– Покажите, пожалуйста, вот этот гребешок Григорию Коровину. Скажите, будто нашли в душевой. Но ни в коем случае не говорите, что этим интересуется милиция.

– Гриха набедокурил? – исподлобился мрачно мастер. Порошин успокоил его веселым голосом:

– Напротив, нам надо доказать невиновность Коровина. Такой симпатичный парень, вступил в комсомол. У нас о нем только положительные отзывы. Он же у вас в бригаде пропагандист-агитатор.

Коровин расческу узнал, принял:

– Мой гребень. Не пойму, где я его потерял. Вот буквы мной нацарапаны шилом: ГК.

После смены, по пути к дому, Григория Коровина задержал сержант Матафонов:

– Вы арестованы, гражданин Коровин!

– Но мы с Леночкой договорились, она меня ждет...

Сержант защелкнул наручники на запястьях рослого парня, ткнул его стволом револьвера в спину:

– Шагай! И не вздумай тикать. Пристрелю, как собаку.

Матафонов дал пинка задержанному, и он зашагал неуклюже в сторону горотдела, приговаривая, бормоча:

– За што? Я завсегда живу мирно, мухи не обидю. Ленка ждет меня...

Порошин был поражен растерянностью и сговорчивостью Грихи Коровина. Он сразу признался почти во всем, выдал дружка – Антоху Телегина. Правда, Аркадий Иванович взял его на пушку, обманул:

– Твой дружок Телегин снят с поезда, арестован. Он признался во всем, раскаялся, назвал сообщников. И тебя он, Гриха, выдал. Мол, он, Коровин, главный зачинщик! Мы, однако, полагаем, что Телегин врет. Сваливает вину на товарища зря. Себя выгораживает!

– Ладно, ответю! – сник разоблаченный Коровин.

– Кто с вами был еще? – взялся за карандаш Порошин.

– А што сказал Антоха? Всех выдал?

– Разумеется, всех. Чистосердечное признание смягчает вину.

– Ежли все вам известно, зачем вопрошать?

– Проверяем твою совесть, раскаяние. Да и Телегин мог назвать того, кого там не было.

Итак, кто еще участвовал в нападении на бригадмильцев?

– Борька Ручьев и дед Иван.

– Дед Иван Меркульев? Который скрывается?

– Он, знамо.

– А где стояла она, когда вы били бригадмильцев?

– Фроська?

– Да, Фрося.

– Ваша Фрося в стороне стояла.

– А когда степь поджигали, она что делала?

– Вместе с нами подпаляла.

– А лапти с проволокой на электропровода она забрасывала?

– Знамо, забрасывала.

– Где скрывается дед Меркульев?

– Никто не ведает, кроме Фроськи.

– Где взял дед Меркульев пулемет, винтовку, маузер? Где он добыл оружие, которое в гробу прятал?

– Железы у няго с Гражданской войны, собственные, личные.

– Для чего он прятал оружие?

– Штоб вы не отняли. Жалко ить.

– У деда где-то еще тайники есть?

– У деда Ивана нет. У казакишек имеются.

– Где еще оружие спрятано?

– В каждой станице по три-четыре схорона.

– Ты лично, Григорий, хоть об одном знаешь?

– По слухам, по рассказам. В станице Зверинке живет дед Кузьма, у него пулемет в наличии. Дед Кузьма с Эсером Цвиллинга убивали. В Анненске есть пулемет у Корчагиных. В Шумихе – у Яковлевых.

Порошин никогда не встречался с таким простодушием. Почему этот парень так легко признается во всем? Надеется, как ребенок, на прощение? Но по всем статьям ему, его другу Телегину и Фроське не избежать высшей меры наказания. Что же делать? Ведь вместе с ними погибнет и он, Порошин. Они все могут с простодушием, так вот, выдать его как укрывателя контрреволюционной группы. Будто молния во мраке, блеснула мысль: Коровина надо немедленно ликвидировать! Телегин где-то далеко, в армии. Фрося, пожалуй, не выдаст. Она уже выдержала испытание на допросах.

За окном висела в небе красная луна. В соседнем кабинете раздавались вопли. Там кого-то допрашивал лейтенант Груздев. Из кабинета Степанова слышался плач. Порошин раздумывал: «Кажется, тропинка к спасению найдена. Сейчас я поведу Коровина к месту преступления. И там выстрелю ему в спину. Убью как бы при попытке к бегству. И – концы в воду. Я не злодей, не кровопивец. Обстоятельства заставляют убрать опасного свидетеля. Да и какая разница, как он умрет? От моего выстрела в спину погибнуть не тяжелее, чем от выстрела в затылок после приговора. Даже наоборот: чем раньше он умрет, тем лучше. Останутся живыми и Антон Телегин, и Фроська, и я, и стихотворец Борис Ручьев. Своей смертью он оборвет цепочку других смертей. А смерть он заслужил по закону: за диверсии на линиях электропередач, за покушение на жизнь бригадмильцев».

– Чой-то вам плохо, начальник, да? С лица вы сошли, побледнели. Мож, воды налить? – схватился за графин Гришка Коровин.

– Пойдем, Григорий, на место, где вы убивали Разенкова, Махнева и Шмеля, – встал пошатываясь Порошин. – Ты должен мне показать яму, в которую вы сбросили парней. Пошли! Докажи, что знаешь, где та яма...

– На ночь-то глядя? – поднял белесые брови Гришка, все еще надеясь, что его сейчас отпустят домой, на свидание к Леночке.

– Злодейство вы совершали ночью. Чего ж удивляться?

По дороге к сортирной яме они шли, будто хорошие товарищи. Порошин замолкал, когда проходили близко редкие ночные путники. И задавал вопросы один за одним:

– Какая причина или повод были для нападения на бригадмильцев?

– Они шли за нами по пятам, вынюхивали что-то.

– Что вас объединило с этим писакой, с Ручьевым?

– Да мы и не едины. Но он казак по корню. Его дед с дедом Меркулевым знакомы. Борька ить не Ручьев, а Кривошеков. Батя евоный за Дутова стоятельно бился...

– А ты нашу советскую власть принимаешь, Гриша? Социализм приветствуешь? Или несогласным затаился? Скажи честно.

– Во начале был супротив. А теперича вот понимаю: не можно судьбу народную отвергать. Да и большевики ить за нас болеют, за рабочих. Штобы всем было хорошо. Не все пока получается. Троцкисты, должно, вредят. А за морем што творится? Негров вешают, китайцев в кошевки запрягают. Индусы с голоду скоро все до одного вымрут. Загнивает капитализма. Мне сталевар Грязнов глаза открывает. Я даже агитатором выдвинут. Газетки вслух читаю рабочему классу.

– Зачем же решился бить бригадмильцев? – взвел курок револьвера Порошин.

– Они первые закричали: мол, стой, руки вверх!

– Ты сейчас умрешь, Григорий, – остановился Порошин, рассматривая в черном небе кроваво-красную луну, груды медленно плывущих облаков.

– С кой стати я помру? Вы шутите, товарищ начальник. Никто меня к смерти не приговаривал. Я комсомолец.

– И тем не менее, ты умрешь.

– Не пугайте, не поверю.

– Гриша, я должен застрелить тебя сейчас.

– Как это «застрелить сейчас»? У меня завтра получка.

– Живым тебя, Гриша, оставить не могу. Ты простодушен и болтлив. Ты инфантилен, поэтому и опасен. Если ты останешься живым хотя бы на одни сутки, погибнет друг твой Телегин, арестуют и расстреляют Фросю. И я пострадаю. НКВД без твоих признаний не нашло бы тех, кто поджигал степь, кто совершал диверсии на электролиниях, кто покушался на бригадмильцев. Как ботают по фене, я взял тебя на понт! А ты и раскис. Но если бы тебя допрашивал не я, а кто-то другой? Ты глуп, Григорий! Чистосердечные признания не спасли бы тебя от смерти. Если не расстрел, то десять лет концлагерей тебе обеспечено. Умер бы в лагере. Я спасу тебя от страданий, а твоих товарищей от твоего предательства. Повернись ко мне спиной, Гриша. Будь мужественным!

– Не повернусь, стреляй в грудь.

– Григорий, мне нужна твоя спина. Я должен тебя застрелить как бы при попытке к бегству. Есть и такой вариант: пойдем к железнодорожному поезду. Ты сам бросишься под поезд. Другого выхода у тебя нет.

– Мы ить казаки, – угрозил Гришка Коровин.

Облако ползуче закрыло луну. Стало темно. Где-то запыхтел паровозик. Порошин подумал: «Он еще и угрожает. Всажу пулю в сердце и скажу, что стрелял при нападении этого придурка».

– Отпусти, не губи! – взмолился обреченный.

Черная тучка сползла с луны, Порошин вдруг замер, парализованный увиденным. Меж облаков, ярко освещенная луной, летела в корыте золотоволосая Фроська. В этот же момент Гришка Коровин метнулся в прыжке на Порошина, ударил его носком сапога, оглушил его своим пудовым кулаком. Аркадий Иванович, теряя сознание, успел нажать на спусковой крючок. Коровин, пробитый пулей, упал замертво. И легли под луной два неподвижных тела. На прогремевший в ночи выстрел прибежал сержант Калганов. Он остановил проходивший мимо грузовик, забросил с шофером два безжизненных тела в кузов, привез их в больницу. Калганову показалось, что они еще шевелились изредка.

– Кого привез? – пробормотал пьяненький фельдшер в приемной.

– Порошина, заместителя начальника милиции.

– А кто второй?

– Не знаю, наверно, бригадмилец. Убили их вот.

Фельдшер шагнул к полуторке с открытым бортом, но споткнулся, упал и разбил в кровь лицо. Шофер нервничал:

– Я сброшу трупы наземь. Мне некогда. Меня ждут в гараже.

– А к чему мне трупы? – осерчал фельдшер.

– Куда же их девать? – спросил Калганов.

– Сдайте в морг. Бумажку я вам подпишу.

Тела Коровина и Порошина бросили, как бревнышки, среди других мертвецов. Утром в морг приехали прокурор Соронин, начальник НКВД Придорогин, а с ним – Пушкин, Груздев, Степанов, сержанты Матафонов и Калганов. Начальник милиции ворчал на Калганова:

– Ты почему увез трупы с места происшествия? Завтра же сдай оружие. Пойдешь надзирателем на спецпоселок. Чекиста из тебя не получится.

– Товарищ начальник, мне померещилось, будто и Порошин, и бригадмилец были немножко живыми.

Главврач, сопровождающий прокурора и работников НКВД, склонился над телом Порошина:

– Странно: он жив, просто без сознания. Кто его сдал в морг?

– Это вы нам должны ответить, как он попал в морг? Надеялись, что он здесь дойдет до кондиции трупа? – прицелился прищуром начальник НКВД в переносицу растерявшегося главврача.

Порошина положили торопливо на тележку-каталку, увезли в реанимационное отделение.

– А где второй труп? Который из этих? – подошел прокурор к сторожу морга.

Сторож-старикашка перекрестился:

– Извиняйте, господа-товарищи. Вторая трупа пропала. Украл мертвяка. Дверь выломали воры, должно. Вона – петли сорваны. Унесли трупу.

У Придорогина потемнело в глазах от приступа бешенства. Опять из морга исчез труп! Как можно об этом доложить выше? Засмеют ведь, не поверят. Анекдоты начнут сочинять. Фельетон может появиться в центральной газете. В журнале «Крокодил» нарисуют. Мол, у начальника НКВД в Магнитогорске систематически похищают трупы. На всю страну позор выплеснется. С работы могут выгнать.

Придорогин проорал, срываясь на сип:

– Даю голову на отрубление: ни один труп из этого морга в ближайшие сто лет не пропадет!

– Скандал! – воскликнул прокурор.

– А кто из бригадмильцев был с Порошиным? – занялся делом Груздев.

На этот вопрос ответа не было. Шмель, Разенков, Махнев оказались живыми. И никто не видел, с кем выходил Порошин из горотдела. Главврача тут же арестовали и через три дня расстреляли. Сторожа морга и фельдшера, который не обследовал Порошина и неизвестного его товарища, забили до смерти, переломав им все кости. И закопали на скотском кладбище.

## Цветь девятая

Вячеслав Михайлович Молотов слушал жену, с трудом скрывая раздражение. А она припудривалась перед зеркалом, лицедействовала:

– Коба твой рухнет. Он колосс на глиняных ногах. Его же практически никто не поддерживает. Его все ненавидят. У него нет опоры ни в армии, ни в партии, ни в народе. Он параноик, больной человек. Сам Бехтерев диагноз поставил. А Коба его за это ликвидировал, отравил! Твой Иоська сговорился с Ягодой: и они убили Менжинского, Кирова, Куйбышева. Вчера мы были на даче у Артузовых. Слышал бы ты, что говорят в кулуарах об этом паршивом грузине. Он же, оказывается, был осведомителем царской охранки, дружкой провокатора Малиновского. Напрасно мы скрыли от народа завещание Ильича. Когда-нибудь все это выплывет наружу...

Дверь в спальню слегка приоткрылась, зашуршала веником домработница. Молотов произнес нарочито погромче:

– Иосиф, милая моя, вырос до уровня вождя. Тебе этого не понять. И он поистине мудр, демократичен, опирается на коллективное мнение.

– Ты полагаешь, что она подслушивает? – зашептала супруга, показывая пальцем на дверь спальни.

– Я полагаю, что ты – дура! – вежливо прокомментировал Молотов.

Вячеслав Михайлович всегда страдал от грубости, вульгарных выражений, казарменного юмора, матерных словечек, пошлостей. Никто и никогда не слышал, чтобы Молотов произнес хотя бы шутейно нецензурную фразу. Все окружение Сталина складывалось из недоучек, личностей примитивных, полууголовников. Были несколько интеллигентов с дворянской закваской, но и они убыстренно деградировали, начали бравировать похабностями. Пакостноязычие всегда угнетало Молотова. Во времена Ленина грубости было не меньше. Любимое словечко Ильича – говно! Матерился по-ямщицки Дзержинский. О бескрылых Дыбенках, вздыбленных, но дубоватых Крыленках и разговора культурного быть не могло. Правда, от них никто и не ждал чего-то другого. Молотова заставляли задумываться выходцы, представители русской аристократии. Они скоморошно рядились под народ. Особенно отличались писатели. Максим Горький – босяк, бог с ним. За рубежом он быстро превратился в нуль, обезденежел, вернулся, как пес, с поджатым хвостом. Теперь усердствует в патриотизме, прославлении социалистического выбора. Для партии это выгодно. Забавен граф Алексей Толстой. Непостижим его диапазон. Писатель большой. Но быть с ним в компании, когда он выпьет, невозможно. Тошнит от его сквернословия, буйности. Впрочем, можно и ошибиться в оценке этих дьяволов.

Вспомнилась пьянка в особняке Горького в канун создания Союза писателей. Сталин сидел рядом с Кирпотиным. Собственно, всю оргработу по созданию Союза писателей СССР провел он – Кирпотин Валерий Яковлевич. Коба никак не мог запомнить лики классиков советской литературы, поэтому и посадил рядом с собой Кирпотина. У него он и наводил справки:

– Вон тот хрен с бородавками... он что написал? А вон тот, с харей бандита... Он – кто? Авербах?

Кирпотин отвечал вполголоса, тихо, чтобы другие не слышали, но исчерпывающе. Горький сидел рядом, поэтому все же слышал, какие вопросы задавал Сталин. Алексею Максимовичу нравилось, как Иосиф Виссарионович рисовал портреты двумя-тремя словами. Хрен с бородавками! И сразу ясно, о ком речь. Или глиста в очках! В очках не один писатель. А глиста в очках – адрес точный. И Горький хохотал раскатисто:

– Хрен с бородавками! Хо-хо-хо! О, великий русский язык!

На скатерти перед Сталиным стояла рюмка-обманка, в нее вмещалось не больше сорока граммов коньяка. Но рюмка была массивной, огромной, обладала оптическим секретом. Она

казалась равной по объему большому стакану. Все остальные пили коньяк из стаканов, рюмок на столе не было. Первый тост провозгласил, естественно, Сталин:

– За здоровье товарища Ленина!

Сразу же воцарилось неловкое молчание. Как можно пить за здоровье человека, который умер? Сталин уловил смущение собравшихся, объяснил:

– По горским обычаям так можно!

После трижды налитых стаканов писатели осмелели, заговорили. Почти всем им хотелось прикоснуться своим стаканом к рюмке вождя, высказать какую-то идею, уточнить формулировку соцреализма. Некоторые даже полагали, что решения ЦК о создании Союза писателей мало. Мол, солиднее будет, если оформить событие правительственным декретом. Сталин поднял рюмку-обманку:

– Товарищ Ленин говорил, что декреты – говно! Главное – кадры!

Три дня и три ночи пили до упаду и блевотины писатели в особняке Максима Горького. Молотова и Жданова Иосиф Виссарионович отпустил на второй день:

– Справимся без вас.

Пьянка в особняке Горького вспоминалась Молотову часто. Классики кричали, ползали на четвереньках, кукарекали, матерились, затевали потасовки, обвиняя друг друга в троцкизме, клялись в верности партии. Но такие Сталина не интересовали. Коба был трезвым, присматривался к тем, кто не терял ясномыслия и достоинства, выглядел сдержанным. Сталин тяжело останавливал взгляд на Шолохове, Булгакове, мрачноватом Платонове, Фадееве...

«Он и эти крепости возьмет», – думалось о Кобе.

Пуста болтовня и глупы утверждения, будто Сталин – колосс на глиняных ногах. В каких-то ипостасях он даже выше и сильнее Ильича. Не мог Ленин, к примеру, справиться с Горьким. И колотил коммунистов в печати этот босяк беспощадно. О Бунине можно и не вспоминать. Большевиков, Ильича он сплюснул в одно четверостишие: «Во имя человечества и бога – смири скота, низвергни демагога!» Не справился бы Ленин и с оппозицией. Рано или поздно Ильичу пришлось бы хлопнуть дверьми, уйти в отставку. И воцарился бы Троцкий или Зиновьев. А белогвардейская пресса и сейчас-то продолжает называть советское правительство жидо-большевистской диктатурой. Не без основания ведь. Весы интернационализма всегда лгут. Как найти для общества здравую меру? Золотую середину находят гении. И Сталин находит. И как забавно он произносит:

– Ми, руськие...

И такое начало фразы у него всегда к месту, по существу, хотя склоняется с юмором почти во всех домах членов ЦК, в партийной элите.

– Ми, руськие, любим выпить!

– Ми, руськие, немножко евреи.

– Ми руськие, русским языком еще не овладели: говорим с грузинским акцентом.

Сталин знает, что его часто передразнивают, пародируют, но не обижается. И даже наоборот повторяет с озорной искоркой в глазах на всех попойках:

– Ми, руськие, любим погулять!

А недавно, когда Генрих Ягода предложил арестовать Завенягина, Сталин ответил:

– Ми, руськие, излишне мнительны. У меня нет основания не доверять Завенягину.

На Авраамия Завенягина поступил донос от какого-то местного прокурора Соронина. Прокуроришка возомнил себя крупным обличителем врагов народа, полез в большую политику. Очевидно, прокурорчик знает, что Ягода охотится за Ломинадзе. И провинциальный блюститель закона возмечтал о большом процессе над врагами народа, не понимая, что никто ему не доверит крупное дело. Ломинадзе пригласят куда-нибудь в Челябинск, в Свердловск или даже в Москву. И возьмут без участия бдителя районного масштаба.

У Ломинадзе главный грех не в том, что он был в оппозиции. И не в том, что распространял пакостное писание Мартемьяна Рютина. И не потому, что голосовал против Сталина. Ломинадзе провел опрос среди дружков на съезде партии и якобы выяснил, будто Кобу вычеркнули более семидесяти делегатов. В результатах голосования такие цифры не фигурировали. Значит – подтасовка, махинации с бюллетенями, мошенничество!

Серго Орджоникидзе не согласился с Виссарионом Ломинадзе:

– Опрос ни о чем не говорит. Твои друзья могли соврать, играя в смелость. Мол, мы голосовали против!

Молотов понимал, что Ломинадзе обречен. И Генрих Ягода предупредил Вячеслава Михайловича:

– Как бы твой друг не влип там, в Магнитке, замарать его может Ломинадзе.

– Какой друг? – с безразличием спросил Молотов.

– Авраамий Завенягин.

– За Авраамия отвечает Серго Орджоникидзе, это его кадры, – холодно закончил разговор Вячеслав Михайлович.

Молотов не боялся Ягоды, презирал его, третировал своим спокойствием и превосходством. Поэтому Вячеслав Михайлович и гневался на свою супругу, когда она позволяла себе поругивать и просмеивать Сталина. Жена могла лишить его, Молотова, превосходства над Ягодой. Вот и супруга Калинина такая же болтушка. И у Артузова – не лучше. Конечно, Коба не будет, наверно, связываться с этими базарными бабами. Но лучше бы они укоротили свои ядовитые языки. Зачем лезут в большую политику? Не женское, не бабье это дело. Политика – это предвидение, искусство расширять и укреплять государство, умение моделировать общественные процессы с учетом классовых интересов, необходимость уничтожать врагов:

– Сталин не человек, а гнида! – шипела на всех дружеских сборищах супруга Калинина.

Молотов предупреждал свою жену:

– Коба вот запихнет ее в концлагерь, и будет она там в какой-нибудь бане соскабливать стеклышком гнид с кальсон заключенных.

Люди, обыватели, в большинстве своем полагают, будто у вождей, крупных государственных деятелей почти нет личной жизни, увлечений, влюбленности. Молотову было известно, что Кобе нравилась Алексаша Коллонтай. И чувство теплоты, любви к этой женщине Сталин скрывать не умел. Восторгался Иосиф и красавицей, артисткой Эммой Цесарской. Любил он и свою жену, был потрясен ее самоубийством.

Молотов любил свою жену, но был увлечен и Цесарской. Она виделась и снилась ему. Он представлял ее рядом с собой в постели, за обеденным столом. В саду, возле дуба, у которого молния сожгла вершину. Вячеслав Михайлович как-то даже полушутя признался Авраамии Завенягину:

– Если бы я получил возможность повторить жизнь заново, я бы женился на Эмме Цесарской.

Завенягин не стал утончаться:

– Для этого, по-моему, не обязательно повторять жизнь заново.

Молотов тогда прервал разговор, заговорил о другом:

– Авраамий, зачем ты вмешиваешься в дела НКВД? Ну, держат они, допустим, в концлагере какого-то умалишенного. У них невиновные, безусловно, есть. Лес рубят – щепки летят. Понимаю, когда вступился ты за своего инженера, горняка Боголюбова. Но какой интерес у тебя к душевнобольному? Велика ли разница – за какой он решеткой: за тюремной или за больницы? Понимаешь: звонит мне Ягода, жалуется. Мол, Завенягин просит освободить какого-то психа, бродягу. Он тебе нужен?

– Так ведь компрометируют советскую власть, партию. И если честно, тот бродяга мне нужен. Он талантливый верхолаз, специалист по трубам. У него и кличка – Трубочист.



– Хорошо, Авраамий, отдадим тебе специалиста.

– Спасибо.

– А как ты, Авраамий, относишься к Хитарову?

– Умница. У меня с ним дружба, хотя видимся редко.

– Наверно, мы пошлем его к тебе, в Магнитку, секретарем горкома партии. Вопрос уже решен в общем.

– А Ломинадзе куда? На новое место, в Москву?

– На новое, – посмотрел Вячеслав Михайлович на дуб с вершиной, обожженной молнией.

Вспоминая о прошедших днях, минувших событиях, Молотов отчетливо видел себя со стороны. И в эти минуты существовали как бы две одинаковые личности-двойники. Но противоречия между ними не было. Два Молотовых сливались в один монолит. Второй Молотов подтверждал правоту первого.

Раздумья Вячеслава Михайловича прервала жена:

– Сегодня ночью ты назвал меня Эммой. Что бы это значило? Какая Эмма у тебя появилась? Молчишь! Ладно, я ведь все разведая. Лучше сам скажи, что это за Эмма?

Он улыбнулся:

– Эмма Цесарская.

Супруга залиvisto рассмеялась. Она отлично понимала, что у ее благоверного, уравновешенного и серьезного мужа никогда не будет любовницы. Каждое слово и действие его всегда обдуманы, выверены, искренне нацелены на служение великому долгу. Но прав ли муж в своей ставке на Кобу? У Иосифа – профиль серой крысы. В улыбке он иногда обаятелен, но и при этом из него лучатся дьявольская хитрость, коварство. При гадании на картах он как пиковый король выпадает опасностью, тюрьмой и смертью. Разумеется, все это глупости – для отдыха и разрядки. Великое счастье – жизнь!

## Цветь десятая

В каждом выборе – судьба, а в судьбе – выбор. У Виссариона Ломинадзе выбора не было. О выборе и судьбе надо было думать раньше. С каждым днем он все больше чувствовал, как сжимается вокруг него железное кольцо опалы. Правда, радовали работа, ощущение причастности к большим событиям, радушие коллег, товарищей.

Секретарь горкома пытался подвести итоги за прошедший год. В марте выдали плавку на пятой мартеновской печи, в мае запустили шестую печь, в августе вступил в строй среднелистовой прокатный стан «500». С пуском этого агрегата Магнитогорский комбинат стал поставщиком сортового проката и превратился в предприятие с законченным металлургическим циклом. В ноябре сдали в эксплуатацию седьмую мартеновскую печь.

Партийной организации, комсомолу, удалось встать во главе ударного труда. Металлургический гигант у горы Магнитной стал реальностью. Велика заслуга в этом и Гугеля, и Завенягина, и курда Чингиза Ильдрыма, и безвинно погибшего в концлагере Гассельблата... Но вспомнят ли об этом люди? Если начнется война, вспомнят и оценят. Магнитка тогда явится кузницей не только плуга, но и грозного меча... Конечно, металлургические заводы строятся и в зарубежье не хуже наших. Но мы думаем ведь еще и о духовном развитии личности, о культуре.

По-другому Ломинадзе мыслить не мог. Секретарь горкома держал под стеклом на столе копию приказа по заводу, подписанную Завенягиным, показывал ее с гордостью именитым гостям и разным комиссиям. Инициатором приказа был он, секретарь горкома партии. Мино-вал уже год, а перечитывать документ было приятно:

«31 января 1934 года. Приказ № 28 по Магнитогорскому металлургическому комбинату.

Исполнилось три года магнитогорской литературной организации, созданной в 1930 году. Литературная группа “Буксир”, насчитывавшая 24 человека, превратилась сейчас в крупнейшую литературную организацию Урала, объединяющую около ста человек, большинство которых рабочие-ударники цехов Магнитогорского комбината. За три года литературная организация Магнитогорска выдвинула и воспитала писателей, известных не только Уралу, но и общественности всего Союза. Силами магнитогорских писателей созданы повести, книги стихов, пьесы. Повесть машиниста Александра Авдеевского “Я люблю” издана в Москве, переведена на немецкий и французский языки. Издана в Москве книга стихов Бориса Ручьева “Вторая родина”, Василия Макарова – “Огни соревнования”.

Выражая уверенность, что магнитогорская литорганзация и в дальнейшем обеспечит свой рост, даст достойные произведения о Магнитострое и его людях, отмечая большую проделанную работу, – ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выделить на 1934 год на издание журнала “За Магнитострой литературы”, утвержденного ГК ВКП(б), 20 тысяч рублей.
2. Оборудовать на Магнитострое Дом писателя. Отпустить оргкомитету ССП 10 тысяч рублей на оборудование библиотеки.
3. Премировать магнитогорский оргкомитет ССП пишущей машинкой.
4. Персонально премирую следующих товарищей: Макарова – организатора первой литературной группы на Магнитострое – велосипедом и 300 руб. Панфилова – председателя оргкомитета ССП – 300 руб. Бориса

Ручьева – бывшего бетонщика – премировать творческой командировкой по Уралу – 1200 рублей. Александра Авдеенко, машиниста горячих путей, творческой командировкой – 1200 рублей. Поэта Михаила Люгарина, бывшего бетонщика, творческим отпуском – 500 рублей. Сержантова – творческим отпуском – 400 руб. Товарищей Каркаса, Дробышевского, Гаврилова, Смелянского, Хабарова премировать творческим отпуском – по 200 рублей каждого.

*Начальник комбината – Завенягин».*

Крупные пушистые снежинки густо кружились за окном горкома партии. Снег и дождь вечны. А вечны ли горком партии, завод? Какие люди заменят нас? Придет вместо Завенягина лет через пятьдесят какой-нибудь директоришка Пупкин и не выделит для поэтов и двух-трех тысяч. Да еще и обоснует, прикроется коллективным решением. За гигантами часто приходят пигмеи. После Ивана Грозного – Годуновы и Шуйские, за Петром Великим – Анны Иоанновны, вместо Ленина – жалкий Джугашвили...

Снегопад усиливался, густел, округлял очертания улиц белыми сугробами крупчатки. Снег, наверно, всегда вызывает ассоциации с понятиями белизны, чистоты. Ломинадзе философствовал: «Снег чист, а я грязен. На съезде партии назвал с трибуны Кобу великим преемником Ленина. А проголосовал против. Да еще и признался в этом. Какая-то помесь тактической хитрости, двурушничества и глупости. Разумеется, что на это толкали. Но ведь можно было воздержаться. Для съезда хватило бы покаяний Зиновьева, Бухарина, Каменева, Томского... Предупреждал и друг Лазарь Шацкий: мол, не позорь себя, Бесо, как мы, фарсом, фальшивым раскаянием. И уж самым презабавным являлось то, что никакой оппозиции “Сырцов – Ломинадзе” никогда не существовало! Был всего-навсего разговор с попутчиком в вагоне, подслушанный осведомителем. И за это сняли с поезда, вернули в Москву для допроса, сляпали “оппозицию”. Совершенно непостижимо. И что означает: “право-левацкий блок”? Бессмыслица какая-то. Правда, письмо в ЦК против насильственного загона крестьян в колхозы он, Ломинадзе, посылал. Но ведь Сталин и сам сказал об этом же еще более остро в статье “Головокружение от успехов”.

Генрих Ягода недавно переправил секретной почтой в Магнитогорский горком партии забавный донос. Мол, ознакомься, Виссарион, какие о тебе пишут пакости, разберись на месте. Для чего он направил эту смешную бумажку? Чтобы успокоить, усыпить бдительность? Да, мы тебе доверяем. Писулька была адресована лично Ягоде: “Дорогой товарищ нарком! Сообщаю Вам, что в Магнитогорске возникло осиное гнездо врагов народа под руководством секретаря горкома партии Виссариона Виссарионовича Ломинадзе. Как мне удалось выяснить при повышении революционной бдительности – жена Ломинадзе вовсе никакая не Ломинадзе, по происхождению не из пролетариата, а дочь московского протоиерея, и настоящая ее фамилия Кувакина. А по имени и отчеству – Нина Александровна. А прическу она завивает локонами дворянскими по наущению ссыльной родственницы царской фрейлины и графини Шулепниковой с рассказами о враге народа Шалапине. И юбка у нее беспартийная, с неприличным до разврата разрезом. И она, разлагая нравственность пролетариата, красит губы американской помадой. А жена начальника милиции Придорогина примеряла трусы императрицы, кои были конфискованы у горкомовской буфетчицы, спекулянтки и воровки, укравшей каральку колбасы с банкета весом один килограмм двести пятьдесят граммов, что зафиксировано в протоколе. И прокурор города Соронин не принимает мер, а по городу ходит нищий, похожий на великого вождя Владимира Ильича Ленина. А начальник милиции Придорогин не может найти, и тем самым укрывает антисоветскую листовку божеского содержания. И начальник милиции, и прокурор не приняли мер к розыску шпионов и диверсантов, которые сбросили в яму с человеческим калом меня, рабочего Махнева и заведующего вошебойки имени Розы Люксембург, бригадмилыца Шмеля. Мое пролетарское достоинство унижено и незаконно про-

питано ароматом дизентерийных поносов, кулацких испражнений из прямой кишки спецпереселенцев и других несознательных элементов. Если и Вы, родной товарищ нарком, не учредите карательные меры, я буду вынужден обратиться к великому товарищу Сталину, отвлекая внимание вождя от победы мировой революции и строительства коммунизма в Кремле. С уважением – к антирелигиозной пропаганде, к НКВД, к ВКП(б) и советской справедливой власти... Бригадмилец – Михаил Разенков”».

Кляуза Разенкова снова сблизила Ломинадзе и Завенягина. Сначала Авраамий не поверил, что все это не шутка. Мол, видно же отчетливо: текст пародиен, сочинен писателем-сатириком. Даже штамп НКВД и личная подпись Ягоды казались поэтому поддельными, бутафорными. Однако начальник милиции Придорогин подтвердил подлинность и серьезность жалобы сексота. И сам он перепугался и приказал своей супруге вернуть Фроське панталоны императрицы.

Письмо Разенкова в городе стало знаменитым, интеллигенты переписывали его, читали в дружеских компаниях, цитировали. А на свадьбе Михаила Калмыкова и Эммы Беккер поэтесса и журналистка Татьяничева исполнила опус в жанре художественного чтения с эстрады. Ломинадзе и Завенягин сидели за свадебным столом рядом, похохатывали. Лева Рудницкий излишне суетился от имени горкома комсомола, предлагал тосты, кричал не к месту «горько». Стол был скромным. Но невеста обвораживала живым мерцаньем глаз, нежностью и белизной лица, по-детски застенчивой улыбкой.

На свадьбе выделялся особо необычный гость: чудаковатый тип в смокинге и шляпе-цилиндре, которого называли Трубочистом. Его, только что освобожденного из колонии, привел на свадьбу Гейнеман. Завенягин знал Трубочиста, и это никого не удивило. Авраамий Павлович был знаком со многими зэками, они работали под конвоем на заводе, иногда выполняли сложные и опасные задания. Авраамий представил зэка Виссариону:

– Знакомся, Бесо: мой главный Трубочист, специалист по ремонту и ревизиям высотных труб. В свободное время предсказывает судьбы, показывает фокусы, иллюзионист.

– Предскажи мою судьбу, – попросил как бы шутя Ломинадзе.

– И мою! – добавил Завенягин.

Иллюзионист взялся за левую кисть директора завода, повернул кверху ладонь:

– О, у вас весьма счастливая судьба. Над вами нависнет скоро опала и смерть. Но спасет вас хороший друг, высокий покровитель...

– Орджоникидзе?

– Этого я вам не скажу. Умрете вы, Авраамий Павлович, своей смертью по старости, в генеральском чине. Всю жизнь вас будет окружать колючая проволока. Несчастье для вашей фамилии принесет человек с бородой. Вместе с ним вы отравите одно большое озеро, речку и землю на десять тысяч лет.

– Но таких ядов нет, чтобы на десять тысяч лет...

– Я говорю то, что показывают звезды и линии судьбы на ладони.

– Туманно. Предскажи лучше, Трубочист, что угрожает России? Будет ли война? Когда она начнется? Успеем ли мы подготовить страну к обороне? А мы зафиксируем твои пророчества.

Предсказатель рассуждал серьезно, хотя никто не собирался отключиться от шутиливой, развлекательной волны:

– Для РОССИИ переломный год – это год Змеи. Он приходит через каждые двенадцать лет: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953... Затем произойдет смещение на судьбу пророка-юноши. С прогнозом обращайтесь к нему. Я в то время буду на звезде Танаит.

– Кто встретится с юношей-пророком? – поддел вилкой холодец Завенягин, закусывая после рюмки водки.

– Вы с ним встретитесь, Авраамий Павлович. Его дед будет у вас кучером служить.

– У меня отберут автомашину? – округлил нарочито глаза Авраамий.

– Нет, у вас будет персональный самолет, автомашина и возница с кошевкой. Так сказать, три вида транспорта.

Ломинадзе шепнул Трубочисту на ухо:

– А когда умрет Сталин? Ты знаешь?

– В год Змеи, – ответил убежденно провидец.

Завенягин размышлял вслух:

– Если война начнется в 1941 году, а это ближайший год Змеи, мы не будем полностью готовы к войне. Нам бы еще годика два-три мирной жизни.

– А когда меня расстреляют? – опять шепотом спросил Ломинадзе.

– Вас не расстреляют, Виссарион Виссарионович. Вы погибнете, спасая жизнь своего сына и жены.

– Такая смерть благородна, – вздохнул секретарь горкома. – Они будут тонуть или гореть в пожаре?

– Можно ответить метафорически: им угрожает черный огонь.

– Не увлекайся мистикой, Бесо, – наполнил чарки Завенягин.

Ломинадзе посмотрел с грустью на свою жену, прекрасную Нино, Нину Кувакину, дочь протоиерея. Нино смеялась, слушая какую-то байку Гейнсмана. Виссарион представил, как она уснула, обнимая сына Сережку, а черный огонь охватил дом, ползет по ступенькам и простенкам к любимой жене, к любимому сыну, названному Сергеем – в честь Серго Орджоникидзе. Черный огонь обретал форму чудовищ: то динозавров, то громадных крыс, то вдруг угадывались фигуры Менжинского, Сталина, Молотова, Ягоды...

– Ленина в облинии черного огня нет, – с удовлетворением отметил про себя Бесо.

Но, вероятно, Трубочист улавливал мысли секретаря горкома:

– Ваш Ленин и зажег этот черный огонь.

Ломинадзе заозирался опасливо по сторонам, но понял вскоре, что Предсказатель произнес фразу, не открывая рта, без применения звука. Просто его мысль передалась беззвучно на расстоянии, перелетела из одной головы в другую. Ничего необычного в этом не было: многие люди, близкие души, живя в разных городах, на большом расстоянии друг от друга, как бы общаются и беседуют. Но Трубочист не был для Ломинадзе близкой душой, они вроде бы никак не могли общаться на биоволне, известной одному богу. Трубочист напал на Ленина...

– Ильич не в ответе за преступления Кобы, – возразил спокойно Ломинадзе.

– У Ленина в уничтожении народа жестокости было не меньше.

– Революции неподсудны. Не Ленин совершил революцию, а народ.

– Никакой революции не было, господин Ломинадзе. Был переворот, бандитский захват власти большевиками. Вы и сами ведь до 1929 года свой приход к власти называли не революцией, а Октябрьским переворотом...

– Не будем цепляться за термины и переименования, товарищ Предсказатель. Главное – в сути! Цель Октябрьского переворота была благородной. Были у нас промахи страшные. Но Ильич признавал ошибки. Например, нэп означал переход к демократии, миру, экономическому процветанию. Трагедия России началась с коллективизации.

Трубочист не отступал:

– Благими намерениями выстлана дорога в ад!

– У нас были и некоторые благородные деяния: мы землю крестьянам дали.

– Но затем отобрали, господин Ломинадзе.

– Вот я вас и победил, товарищ оппонент! Землю отобрали, начали отбирать с 1929 года. Значит, Ленин не причастен к антинародной политике!

– Ваше недовольство Сталиным, в том числе и манифест Мартемьяна Рютина, это бунт на четвереньках марксизма, господин Ломинадзе. Все трагедии начинаются с убийства государей,

лидеров, младенцев, с подавления пастырей: священников, философов, художников, поэтов. Вы разрушили церкви и мечети, а их купола, кресты, шпили были антеннами, которые принимали космическую энергию жизни. Вы уничтожили национальный дух. Что же вы посеете и пожнете в пустыне бездуховности? Вы сокрушили и обескровили крестьянство – почву России. Вы, коммунисты, породили тьму бесов. Разумеется, что таких замыслов у вас не было. Бог, космос, звезды предлагают человеку выбор. Ваш выбор – утопия, ведущая в противоположную сторону от привлекающей вас цели. А народ – не быдло, не идет покорно за вами. Поэтому вам и необходимы репрессии, расстрелы, кнуты...

– Не случайно вы побывали в концлагере, товарищ предсказатель. Полагаю, что освободили вас по ошибке, – честно высказал свое отношение к Трубочисту секретарь горкома партии.

– Гейнеман выхлопотал ему освобождение, – сказал Завенягин.

Трубочист глянул на Ломинадзе страдальчески, жалея его. И взгляд этот запомнился, жег сердце недели две. Бесо, соглашаясь с письмом Мартемьяна Рютина, не мог допустить даже мысли о какой-то вине Ленина за все, что творили Коба и его клика.

\* \* \*

За окном буйствовал снегопад. Ломинадзе ждал машину. Шофер Миша Копылов уехал на заправку, намеревался заменить свечи и аккумулятор. Надо срочно выезжать в Челябинск. И с утра позвонил Рафаэль Хитаров:

– Привет, Бесо! Мне предложили переезд в Магнитку, на твое место. А тебя куда направляют? В Москву?

Ломинадзе был обеспокоен звонком друга. Как же так? В Магнитогорске никто не знает, что будет новый секретарь горкома. Второй звонок был еще тревожнее. Секретарь обкома партии Рындин даже не поздоровался:

– Виссарион? Срочно выезжай ко мне, на машине...

– Но у нас непогодь, снегопад. Мы не пробьемся, наверно, на автомашине.

Голос Рындина зазвучал резко, грубо:

– Не занимайся демагогией, выезжай немедленно!

Ломинадзе решил позвонить Серго Орджоникидзе, но секретарша долго не могла соединиться с Москвой, связь не работала. Возле горкома маячил в белом полушубке лейтенант Груздев. Что ему тут надо? Связаться с Москвой все-таки удалось:

– Аллю! Серго? Здравствуй!

– Здравствуй, здравствуй, Бесо.

– Серго, мне звонил Хитаров, его направляют на мое место.

– Знаю, знаю, Бесо.

– А у вас какие новости, Серго?

– Новостей никаких нет. Правда, у Генриха фальшивка какая-то появилась... якобы с твоими пометками. Манифест Мартемьяна Рютина. Чепуха, должно быть, не верю.

– А как твоё здоровье, Серго?

– Что-то СЕРДЦЕ ПОБАЛИВАЕТ, – ответил Орджоникидзе дрогнувшим голосом.

– Прощай, Серго! Не поминай лихом!

– Я тебя обнимаю, Бесо!

Связь с Москвой на этом оборвалась. Ломинадзе понял, что его арестуют в Челябинске. Бесо не страшился ни пыток, ни смерти. Он боялся одного: клейма предателя, врага народа. И думал он о Нино, о маленьком сыне – Сережке. Безусловно, что они пострадают. Жену упрячут в концлагерь, сына сдадут в детдом. А если опередить палачей – застрелиться? Никто ведь

пока не объявил его врагом народа. Мертвые сраму не имут, мертвых не судят. Можно спасти таким образом и жену, и сына.

Ломинадзе открыл сейф, взял с нижней полки коньяк, с верхней – браунинг. Бутылку с коньяком сунул в портфель, браунинг – в карман пиджака. И вздрогнул, когда открылась дверь кабинета. Полагал – появится лейтенант Груздев, а может и сам Придорогин. Но вошла буфетчица.

– Виссарион Виссарионыч, испечь вам оладушки к обеду?

– Не надо, Фрося, спасибо. Я уезжаю в Челябинск, жду машину.

– Ваш Миша у меня сидит, кушает. Машину он заправил, отремонтировал. И вы бы передальним путем покушали.

– Спасибо, Фросенька, не хочу. Садись, поговори со мной, пока Михаил обедает. Как у тебя дела? Жених выздоровел?

– Нет, в больнице Аркаша. Но уже поправляется, в память приходит.

– Хорошая вы девушка, Фрося.

– Отчего же мне быть плохой?

– Прости меня, если обижал.

– Нет уж, вы меня извиняйте, Виссарион Виссарионыч.

– За что мне тебя извинять, Фросенька?

– Так ить я стащила тогда с банкету каральку колбасы, вас подвела.

– Я уж забыл про то. Да и правильно сделала, что стащила.

– Не ездили бы вы, Виссарион Виссарионыч... Метель страшная.

– Чему быть, того не миновать.

– Уж это верно, Виссарион Виссарионыч.

– Если я погибну, ты меня пожалеешь, Фрося?

– Как же не пожалеть? Мы вас любим...

В кабинет заглянул шофер:

– Я заправился, Виссарион Виссарионыч. Поедем?

– Поехали. Прощай, Фрося, – обнял и чмокнул в щеку буфетчицу секретарь горкома партии.

Фроська сжалась, проводила взглядом Ломинадзе и его шофера, глядя на них через окно с лестничной площадки. Там на улице бурило. Лейтенант Груздев сопровождал секретаря горкома партии до машины, хлопнул услужливо дверцу, козырнул. Фроська заплакала. Она знала, что больше не увидит Виссариона Виссарионовича. Автомашина фыркнула, скрежетнула коробкой скоростей и покатила через белые вихри в свой роковой рейс. Ломинадзе не стал прощаться с Нино и сыном. У него не было сил для этой последней встречи. И Нино бы почувствовала, уловила бы его замысел покончить жизнь самоубийством.

– Застрелюсь в обкоме партии, – планировал Виссарион Виссарионович, закрыв глаза в дремоте.

Но до Челябинска проехать было невозможно. Снежные заносы перекрыли все дороги. С трудом, буксуя, добрались до Верхнеуральска и повернули обратно. Из Верхнеуральска Ломинадзе дозвонился до Рындина, известил его, что приехать не может. Рындин обрушил на Ломинадзе руладу грязной брани. Виссарион Виссарионович бросил телефонную трубку, защемило сердце. Никогда с ним так не разговаривали в обкоме партии. Печальной была обратная дорога. У въезда в город Ломинадзе тронул шофера за плечо:

– Останови, Миша.

Бесо достал из портфеля коньяк, откупорил бутылку резким ударом о ладонь, начал пить из горлышка. Снегопад прекратился, и ветер утих. Над пробкой радиатора струился парок. Ломинадзе выпил всю бутылку в два приема, не подействовало, не ударило хмелем в голову.

Шофер заметил: что-то молчалив хозяин, не в духе. Виссарион Виссарионович достал браунинг, переключил предохранитель:

– Постреляем, Миша.

Под облаками в сторону элеватора пролетала стая галок.

– По воронам? – спросил шофер.

– Зачем же губить птиц? – посмотрел на галочью стаю секретарь горкома.

Он поставил на сугроб пустую бутылку, отошел на двадцать пять шагов, прицелился и выстрелил. Попал с первого раза, отбив горлышко.

– Я не буду, – отмахнулся шофер от протянутого ему браунинга.

– Тогда поехали, – уселся Ломинадзе на заднее сиденье.

Он никак не мог решиться выстрелить себе в висок. Вспомнился Нерон, который тоже не нашел в себе силы для самоубийства, приказал рабу убить его. Не обратишься же с такой нелепой просьбой к шоферу. Мол, Миша, возьми мой браунинг, застрели меня.

– Ты знаешь, Миша, кем был Нерон? – спросил Бесо.

– Еврей, што ли?

– Нет, Миша, евреи – хорошие люди...

Ломинадзе снова подумал щемяще о Нино, о сыне, ткнул ствол пистолета к левой стороне груди и выстрелил... Умер Виссарион Виссарионович не от пули, а от наркоза – в больнице, после операции на сердце. Хоронили его с почетом. За гробом шли и Завенягин, и Валериус, и Лева Рудницкий, и Виктор Калмыков, и Женя Майков, и Лена Джапаридзе, и поэт Василий Макаров – весь цвет рабочего города. Похоронную процессию фотографировал лейтенант НКВД Груздев. Серьезность и печаль похоронной процессии портил нищий, похожий на Ленина. Но он вскоре отстал: увидел на площадке детсада деревянный броневи́к. Почитая себя вождем мирового пролетариата, выживший из ума нищий вскарабкался на дощатый броневи́чок и прокричал детям:

– Социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась!

Детям выступление нищего очень понравилось, и они дружно кричали: «Ура!»



## Цветь одиннадцатая

Порошин пролежал в больнице четыре месяца. Череп его был раздроблен, разошелся, как утверждали хирурги, по швам. Но особенно плохо срастался сломанный позвонок шеи. Однако потерю памяти Аркадий Иванович симулировал. Он прекрасно помнил обо всем, что случилось. К нему приходили несколько раз и Придорогин, и Пушкив, и Груздев, и прокурор Соронин. Пострадавший отвечал одно:

– Ничего не помню!

Чаще всего в больничной палате появлялись Гейнеман и освободившийся из колонии Трубочист, заведующий вошебойкой имени Розы Люксембург Мордехай Шмель, сержант Матафонов. А Фроська прибегала и по два раза в день, приносила то пирожки, то блины, а то и деликатесы, которые не видело в глаза даже высокое начальство. Порошин хорошо знал, что происходит в городе. О свадьбе Виктора Калмыкова и Эммы Беккер, о пуске девятой мартеповской печи, о самоубийстве и похоронах Ломинадзе, об избрании новым секретарем горкома партии Рафаэля Хитарова, о седьмом съезде Советов СССР, где Марфу Рожкову избрали членом ЦИК, о вручении орденов Ленина Завенягину и Гончаренко, а Трудового Красного Знамени – Борису Боголюбову, Лене Джапаридзе...

Аркадий Иванович как заместитель начальника НКВД лежал в отдельной палате, если так можно назвать маленькую комнатку, в которую едва вмещались кровать, тумбочка и две табуретки. Порошин не верил в исчезновение трупа Григория Коровина, как и во все другие мистические явления. Он понимал, что произошло той злополучной ночью:

– Коровина я не убил, а ранил. Он мне раздробил кулаком голову. И меня, и его сдали в морг по недосмотру. Гришка, видимо, очнулся вскоре, выломал дверь и сбежал. Но ведь его могут поймать. И тогда Коровин признается во всем, начнутся аресты. НКВД возьмет Антона Телегина, Фроську, стихоплета Ручьева и... меня! А в том, что Коровина найдут рано или поздно, сомневаться не надо. Зачем же я решился убить его? Он ведь осознал свои ошибки, вступил в комсомол, искренне вошел в ряды рабочего класса, стал подручным сталевара, ударником, даже агитатором... Я стрелял не в классового врага, совершил преступление, чтобы спасти себя и Фросю. Поэтому вот чекистов и называют грязнорукими. Неужели я стал пережденцем, предал высокие идеалы?

...В палату вошла Фроська с плетеной корзинкой, из которой выглядывали оранжевые апельсины. Она одурманила поцелуем, открыла форточку.

– Весна на дворе. Благодать божья. А ты меня любишь?

– Люблю, Фрося.

– За што?

– Не знаю.

– У тебя неосознанное стремление к качественному воспроизводству человечества? Да?

– Фроська, не говори глупости.

– Ладно, не буду. Но глупости-то эти не я выдумала, а Жопенгауэр.

– Шопенгауэр!

– Извини, одну букву перепутала.

– Что нового в городе, Фрося?

– Мне трусы отдали в НКВД.

– С тебя снимали трусы?

– Не мои трусы, а императрицы.

– Прости, забыл...

– Я принесла зелья колдовского. Вот – в пузырьке. По чайной ложке – перед сном. Выздоровеешь в момент. Заиграешь – аки жеребчик. Летать будешь, Аркаша.

- А правда, Фроська, говорят, что ты летаешь по ночам в корыте?
- На самолете я не умею.
- Нет, Фрося, ты не шути.
- А я и не шутю, Аркаша.
- А на метле бы ты могла полететь?
- И на метле не умею. Я же не Баба-яга.
- Я видел один раз, как ты летала в корыте.
- Не один ты видел.
- Но такого не может быть, Фрося.
- Ты же видел, Аркаша.
- Это могла быть галлюцинация, видение... Вот если прилетишь в корыте к моему окну в больнице, тогда поверю.
- У тебя какой этаж, Аркаша?
- Третий, Фрося. Очень высоко.
- Когда прилететь?
- Сегодня ночью, Фрося.
- А ты окно откроешь?
- Открою.
- Жди, прилечу, Аркаша. Как прокличет последний петух на луну, так и явлюсь.
- Хватит шутить, Фрося. Давай серьезно поговорим. У меня к тебе дело неотложное.
- Какое дело?
- Ты знаешь, где сейчас Гришка Коровин? Он жив?
- Почему он должен быть мертвым?
- Я же в него стрелял, в упор! Он убежал из морга. И, может быть, погиб от раны. Хорошо бы, если умер.
- Нет, Аркаша, не умер Гришка. Живой он, скрывается в Шумихе, у деда Яковлева. И здоров аки бык, хотя ты ему грудь пробил.
- Фрося, если Гришку найдут, начнутся аресты. Гришка глуповат, с легкостью признается во всем.
- Што делать, Аркаша?
- Передай ему, чтобы вернулся. И ни в чем не признавался! Расческу он мог потерять, а ее подобрали бандиты. И бригадмилецев он не избивал. А во время следственного эксперимента на нас напали какие-то хулиганы. Я стрелял по этим бандитам, Коровина ранил случайно. По голове меня ударил не Гришка, а те, из неизвестной шайки. Я сделаю вид, будто у меня восстановилась память. И скажу то же самое. Пусть не боится Коровин. Так будет лучше. А убежать Григорий из морга мог и с перепугу. Долгое его отсутствие ни о чем не говорит. Сначала лечился, а после – боялся.

Порошин не стал спрашивать Фроську, знает ли она, где скрывается дед Иван Меркульев? Понимал, что она не скажет. Да и Аркадий Иванович не был заинтересован в поимке старого дурака, который хранил и прятал пулемет без какой-либо необходимости. Явно казачье нутро в старике: хоть и родная она, советская власть, но оружие надо на всякий случай припрятать. Кто, однако, теперь поверит ему, будто оружие не предназначалось для антисоветского мятежа, восстания? И не помогут заслуги и ордена, и то, что был в годы Гражданской войны в красных отрядах Каширина и Блюхера. О деде Меркульеве и думать не хотелось. Но Аркадий Иванович замыслил поговорить с любимой Фроськой о ее таинственной бабке. Дело о розыске бабкиного трупа пока висело на нем. Вот выздоровеет, выйдет на работу, и придется снова ломать голову, разгадывать идиотскую тайну. Хорошо бы сплавить это дело с рук, передать кому-то другому. Повод и причина для этого в общем-то есть. Не может же он вести расследование о родственниках своей невесты.

Спросить Фроську о бабке Порошин не решался. Если старуха умерла, вопрос прозвучит бестактно. Если штрундя жива, то она скрывается. И Фроське не надо полностью доверяться, нельзя отключать революционную бдительность. Чекисты сильны не блудливо-либеральной ставкой на презумпцию невиновности, а координатами версий, которые так или иначе выводят на врагов народа. Фроська, разумеется, цветочек, подсолнух. Озорная девчонка, гипнотична в своем юном обаянии, изображает безалаберность. Она все время играет какую-то роль. Влюблена, пожалуй, искренне, по-детски. Не любить ее невозможно. Но ведь ее могут использовать и враги. Предположим, ее дед Иван Меркульев был заслан белогвардейской разведкой в отряд братьев Кашириных! Почему бы и нет? В последнее время выясняется, что многие вредители, враги народа награждены орденом Ленина, Красной Звезды, именным оружием... Дед Фроськи может оказаться не глупцом, который прятал пулемет по аполитичной страсти к оружию. Он может быть и опасным заговорщиком в большой сети контрреволюционных организаций. Не зря Гришка Коровин упоминал, что пулеметы спрятаны у какого-то деда Кузьмы в Зверинке, у старика Яковлева – в Шумихе... А может быть, и сама Фроська – в сети заговорщиков...

Фроська наполнила из графина стакан холодной водой и выплеснула его резко, с обезьяньей ужимкой, в лицо Порошина.

– Ты что, дура, рехнулась? – недоумевал он, утираясь углом больничной простыни, пропечатанной регистрационными штампами.

– Я огонь погасила! – ернически скривилась Фроська.

– Какой огонь?

– Черный!

В дверь палаты стукнули интеллигентно, трижды.

– Наверно, Гейнеман с Трубочистом, – встал с кровати Порошин.

– Входите, господа-товарищи, – оправила подол юбки Фроська.

В палату вошел Трубочист с детской игрушкой-куклой, у которой была оторвана голова.

– Я ухожу! До встречи при луне! – выскользнула за дверь Фроська. Порошин очистил апельсин, разломил его на дольки, бросил небрежно в треснувшее голубое блюдо на тумбе, посмотрел на куклу:

– Что это означает?

– Голову кукле оторвали при обыске...

– Что могло быть в голове куклы?

Трубочист жил в одной квартире с Гейнеманом. Многим было странно видеть, что освободившийся заключенный поселился у начальника колонии. Но ведь и директор завода Завенягин пригреб в своем особняке бывшего зэка Боголюбова. Впрочем, Трубочист не походил на тех, кто побывал в концлагере. Одет он был изысканно, элегантно: голубые полуботинки из крокодиловой кожи, светло-голубой костюм изящного покроя, ослепительно снежная манишка с бабочкой синего цвета – в белую горошину. Изможденное лицо его помолодело, орлиный нос возгорделивился, а седые волосы создавали эффект значительности.

– Ты похож на профессора, Трубочист, – сказал Порошин, чтобы не уточнять, где, когда и при каком обыске отделена голова у куклы.

И очень уж кукла походила на Фроську, неприятно было видеть ее оторванную голову. А Трубочист, будто издевался над Порошиным, как бы накаркивал что-то провидчески, перебрасывая из ладони в ладонь рыжеволосую голову куклы.

– Я и есть профессор, – выдержав паузу, ответил Трубочист.

– Как вдруг так?

– Не вдруг, у себя на родине я преподавал довольно сложный предмет.

– Какой?

– Интегральные функции вероятности в экстраполяции биологических полей.

- На какой родине, дорогой Трубочист, ты преподавал этот предмет?
- На планете Танаит.
- Извини, я запомнил, что ты считаешь себя Пришельцем из астромира, из космоса, с другой звезды.
- Я не считаю, Аркадий Иванович, а так оно и есть!
- Чем это можно доказать, удостоверить?
- Очень многим.
- Конкретно, Трубочист.
- Я могу перемещаться во времени.
- А другого человека ты можешь взять с собой?
- Могу, но не вас, Аркадий Иванович.
- Так-то мне, Трубочист, любой псих может заявить, будто он прилетел с альфа Центавры.
- На планетах альфа Центавры нет существа, подобного человеку. И земная атмосфера не подходит для них. Они прилетают к вам в скафандрах. А жители Танаит в биологической модели эквиваленты землянам.
- Значит, танаитяне смертны?
- Не совсем так. Мы можем оставить оболочку, тело и улететь по любой координате: в прошлое, в будущее. При выполнении своей миссии мы возвращаемся на планету Танаит.
- А у нас на земле имеются такие индивиды, которые способны перемещаться во времени? Скажем, взял и перелетел в 1612 год, во времена Смуты? Или к Петру Великому – на царский пир!
- Из каждых десяти миллионов одна личность способна на это.
- А в будущее летают?
- Нет, ни один человек на Земле никогда не сможет побывать в будущем. Но у вас на земном шаре загадок и чудес больше, чем у нас.
- Что у нас есть загадочное?
- Ваши колдуны и колдуньи.
- Я, милый мой Трубочист, не встречал в жизни ни одного колдуна, ни одной колдуньи.
- Но ваша Фрося – колдунья.
- В лирическом плане – волшебница.
- Она колдунья!
- Твои сказки, Трубочист, наивны. Я материалист. Материя первична!
- Материя не может быть первичной.
- По-твоему, первичен дух?
- Дух тоже не первичен.
- Ты дуалист? Но до тебя, Трубочист, были Декарт и Кант.
- Ваши великие дуалисты Декарт и Кант были ближе к истине, чем Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Ленин – вообще не философ, он примитивен.
- Ты можешь, Трубочист, доказать мне, что материя не первична? И не философским словоблудием, а одним кратким примером? И четкой пирамидой логики!
- Пожалуйста! Способность атома железа присоединять к себе два или три атома кислорода у вас называется валентностью. И это свойство материи не вторично. Частица и поле единовременны. А поле как возможность соединения – не материя, а запрограммированность. Без этого в мире господствовал бы хаос, не было бы и жизни. Сознание не вторично, это всего лишь результат запрограммированных соединений.
- С этим можно и согласиться.
- Но при этом рушится постулат о первичности материи.
- Черт с ним!

– Сознание и речь – не высшая ступень бытия. Высшая категория – дух, душа. Сознание является частью духа, его ничтожной долей. А душа – это и ощущение тела, и причастность к вечности, и вера, и энергетический сгусток, способный отделяться от оболочки.

– По-моему, я уже и раньше соглашался с этим...

– Люди часто теряют и губят свои души. Души с вашей планеты похищаются обитателями Черной звезды. Они транспортируют их по своей астротрубе десятками и сотнями тысяч.

– Для чего им нужны наши души?

– Каждая душа состоит примерно из восемнадцати миллиардов бионов. Обитатели Черной звезды не воспроизводят сами эти частицы. И они давно бы погибли, вымерли – без подпитки вашими бионами. Мы, танаитяне, прилетели к вам, чтобы предупредить вас об опасности. Бесы с Черной звезды всесильны только над душами, которые не защищены верой, опалены черным огнем зависти, братоубийства, ненависти, лжи...

Порошин рассмеялся:

– Ха-ха! Не так уж ты и загадочен, Трубочист! Может быть, материя не первична. Ты меня давно в этом убедил. Но человек и не живет этой проблемой. Согласен и в том, что дух выше сознания. Еще раз подтверждаю: вполне можно представить душу энергетическим сгустком, способным отделиться от тела. Но ведь все остальное у тебя – нечто среднее между ахинеей и околонуточной фантастикой. И не так уж безобидно все это звучит. Черный огонь зависти, братоубийства, безбожия разжигают, разумеется, коммунисты. Нет, родной мой Трубочист, не зря тебя пытались уморить в концлагере. Ты изощренный антисоветчик, контра. И напрасно ты рядишься в одежды чудака, фантазера, полупомешанного.

Трубочист съехидничал:

– Вы советуете мне, Аркадий Иванович, явиться в НКВД с повинной?

– Я советую тебе, Трубочист, ни с кем не говорить на эти темы. Тебя ведь схватят и расстреляют. А мне тебя жалко. Есть в тебе что-то интересное, притягательное. И нельзя тебе квартировать у Гейнемана. Мишку за связь с тобой могут замести. Ты уж пожалей моего товарища.

– Тогда и вам, Аркадий Иванович, опасно со мной якшаться: заметут.

– Меня, Трубочист мой дорогой, не заметут. Я сам – из тех, кто замечает. Шевельну пальцем – и ты исчезнешь!

Гейнеман вошел в больничную палату боком, с охапкой кульков и свертков, он услышал последнюю фразу Порошина и сразу отреагировал:

– Чего расхвастался? «Шевельну пальцем – и ты исчезнешь!» Как бы не получилось наоборот, Аркаша. Трубочист слегка шевельнет своей волшебной тросточкой – и ты исчезнешь!

– Пусть на себе сначала проверит свою тросточку...

– Пожалуйста! – согласился Трубочист.

Он крутнул трость вокруг поднятой правой руки, притопнул и спрятался за спину Гейнемана. Но Гейнеман шагнул к тумбочке, чтобы уложить в нее принесенные кульки. Трубочиста в палате не было, он исчез, испарился. Порошин заглянул под кровать. Что за чертовщина? Под кроватью валялась безголовая кукла.

– Мишка, куда он делся? – жалко спросил Аркадий Иванович.

– Кто?

– Фокусник твой, Трубочист.

– Не знаю, Аркаша. Впрочем, я вижу его в окно. Он махнул мне рукой. К нему подошли двое, ты их знаешь...

– Кто? – выглянул в окно и Порошин.

В больничном скверике стояли Трубочист, тюремный водовоз Ахмет и нищий, похожий на Ленина. Аркадий Иванович отошел от окна, присел на табурет:

– Где он берет деньги, чтобы одеваться так аристократически?  
– Аркаша, Трубочист получает у Завенягина большую зарплату. Он же специалист по высотным трубам, редкий специалист. И побочно занимается кладоискательством. Недавно нашел горшок с царскими золотыми червонцами.

– Где нашел?

– На кладбище.

– Любопытно.

– Что уж тут любопытного? Каждый ищет что-то в жизни по призванию. Вы пулемет нашли. А он – корчажку с червонцами.

– Как у тебя дела, Миша?

– Плохо, Аркаша.

– Какие-то неприятности?

– Приходится расстреливать заключенных – сотнями, тысячами.

– Указание сверху?

– Придорогину и Соронину надо выполнять план, разнарядку по разоблачению врагов народа. Хватают они и металлургов, и строителей. Но там тяжело: Завенягин и Валериус свои кадры обороняют. А спецпереселенцы и мои зэки беззащитны. Вот и раскрывают чекисты «заговоры» то в спецпоселках, то в казачьей станице, то у меня в колонии. Приходится молчать, хотя и дураку видно, что все контрреволюционные организации – липа!

– А может, Мишка, так лучше? Твои доходяги в любом случае обречены. Да ведь у тебя и не ангелы, а кулаки, вредители, враги народа. Своей смертью они спасут от гибели сотни невинных людей. Может быть, Придорогин и Соронин доброе дело вершат? Надо подумать, Миша.

– Аркаша, нету у меня в концлагере вредителей. Ни одного нет! И никаких врагов народа нет. Ну, может быть, пять-шесть умных идейных противников режима: из эсеров, священнослужителей, дворян. Не больше пяти-шести человек на десять тысяч.

– Не поверю, Миша. У тебя в колонии одних только раскулаченных семь-восемь тысяч. Все они люто ненавидят советскую власть. И мы никогда их не сломим, не перевоспитаем. Они не сдадутся. А если враг не сдается – его уничтожают!

– Но ты сам загорал в Бутырке.

– Я был арестован без оснований. Просидел не так уж много. У меня нет претензий к советской власти.

– А твой батюшка, Аркаша?

– Отца должны освободить, уверен в этом. Я написал письма... А если он там озлобился, стал врагом социализма, то я не имею права работать в органах НКВД. Уйду в грузчики или в говновозы.

– Кому ты направил письма?

– Молотову, Ягоде.

– А как мама? Что пишет?

– Горюет, болеет, зовет в гости. Выйду из больницы, возьму отпуск, поеду к ней вместе с Фросей.

– Я тоже, Аркаша, скоро женюсь.

– На ком?

– У меня богатый выбор: две невесты!

– Я их знаю?

– Да, встречал.

– Скажи – кто?

– Олимпова и Лещинская.

– Мишка, но Лещинская-то страхоморденькая. А Мариша Олимпова – чудо!

– На ней я и женюсь!

После ухода Гейнемана в палате появилась Партина Ухватава. В красной косынке, длинная, костлявая – выглядела она нелепо, но со значением. Настоящее имя у нее было Прасковья. Но она полагала, что с таким именем нельзя было работать в комсомольских и партийных органах. Коммунисты называли своих дочерей Октябринами, Тракторинами, Свердлинами, а сыновей – Виленами, Ленсталями, Спартаками, Кимами... Придорогин разрешил Параше сменить имя. Правда, она стремилась изменить и фамилию, стать Партиной Коммунистической. Но начальник НКВД не согласился:

– Прояви себя сначала, Параша. Тогда дадим разрешение на фамилию Социалистическая. Хорошо будет звучать – Партина Социалистическая. А пока шлепай Партиной Ухватавой.

Параша при знакомствах называла обычно свою будущую фамилию:

– Партина Социалистическая!

– Партина Свололистическая! – дразнили ее в городе.

Порошин удивился приходу Партины. Он и видел-то ее мельком всего три-четыре раза, никогда не разговаривал с ней.

– Здравсьте, Аркадий Ваныч. Как здоровье?

– Здравствуйте, Партина.

– Я к вам от райкома комсомола с восторгом...

– С чем?

– С восторгом! Мы взяли шефство над молодыми сотрудниками НКВД. Вы, как известно, совершили подвиг, сражаясь с лютыми врагами народа. И пострадали героически разбитой головой...

– Партина, никакого подвига я не совершал.

– Скромность в большевиках – качество. Я решила стать вашей женой, Аркадий Ваныч. Первую нашу дочь мы назовем Марксиной, вторую – Энгельсиной...

– Партина, мы не знаем друг друга. И у меня другие планы, я никогда не испытывал к вам симпатии.

– Нет, нет! Вы не отобьетесь от моих благородных движений. У вас повреждена голова. Вы пока не в состоянии оценить мою комсомольско-девическую жертвенность.

– Партина, не ставьте себя в неудобное положение. Мы никогда не будем мужем и женой.

– Но половые отношения без оформления брака безнравственны, Аркадий Ваныч. Считайте, что вы уже – мой супруг!

– Партина, я отказываюсь от этого счастья категорически.

– Но я уже объявила в райкоме комсомола о нашей свадьбе. Вы обязаны вступить со мной в половые отношения.

– Извините, Партина, но вы просто не в себе. Я не собираюсь вступать с вами ни в какие отношения.

– Зачем же вы на меня посмотрели там – в редакции газеты?

– Партина, я не помню даже, что посмотрел на вас.

– А какой это был взгляд! У меня есть свидетели!

– Какой взгляд!

– Соблазняющий, вы меня раздели тогда глазами догола.

– Милая Партина, ей-богу, вы ошиблись.

– Нет, я своего решения не изменю: мы – муж и жена.

– Партина, вам надо обратиться к доктору Функу – психиатру.

– Это у вас голова повреждена. А я в здравии. Можно сказать, вам привалило счастье. А вы судьбу отвергли. Жалко мне вас. Всю жизнь будете сожалеть опосля. В ноги мне упадете, но

я уже не соглашусь стать вашей женой. Считайте, что я подала на вечный развод. Прощайте, неблагодарный!

Партина Ухватова ушла, гордо выпрямясь, со слезами на глазах. Порошин долго не мог поверить, что он не разыгран, не вовлечен в какой-то комический спектакль. К вечеру у него поднялась температура, разболелась голова. А к нему пришла какая-то девочка:

– Фрося вам пельмени горячие передала, я соседка ее – Вера Телегина.

– Спасибо, спасибо, – взял Аркадий Иванович горшок, укутанный в шаль.

Он не запомнил ни девочки, ни ее имени и фамилии, не притронулся к пельменям. Ему сделали укол, дали снотворного, и он успокоился, уснул, обнимая подушку. Проснулся Порошин в полночь от легкого постука, то ли в окно, то ли в дверь. Он сбросил байковое одеяло, опустил ноги на махровый половичок, огляделся. В палате было сумеречно, за дверями в коридоре тишина, значит – дежурная медсестра спала на диване.

За окном желтелась миражно наркотическая луна. Аркадий Иванович подкрался к двери, приоткрыл ее, выглянул в коридор. Там никого не было. Кто же стучал? В палате густилась духота, запахи лекарства и бинтов. Он подошел к окну, взялся за створки, распахнул их, облокотился о подоконник. И зажмурился от хмельного ощущения прохлады, тающей свежести, ранней весны. А когда вновь открыл глаза, обомлел... Прямо вплотную к окну, к подоконнику, прижималось корыто, в котором сидела Фроська. Она приложила палец к губам: мол, тише! И полезла в окно. Порошин помог ей перелезть через подоконник и начал обнимать ее, целовать, приговаривая шепотом:

– Фроська, я тебя люблю. А ты меня любишь?

– Люблю.

– Тогда снимай штаны.

– На мне панталоны царицы.

– Зачем же ты их напялила?

– Штоб тебя соблазнить.

– Ох и дура ты, Фроська.

– Умная была бы, не влюбилась бы в тебя.

– Торопись, Фрося, у тебя есть соперница.

– Верочка?

– Какая Верочка?

– Верочка Телегина, которая пельмени тебе принесла.

– Не знаю никакой Верочки. Никто мне пельменей не приносил. Твоя соперница – Партина Ухватова.

– Аркаша, я до полной нагишности разболокаюсь, для соблазнения...

Такой уж получилась у них первая медовая ночь. Они прообнимались, прошептались до первых петухов. И только перед рассветом нечаянно уснули. Дежурная медсестра застала их спящими в обнимку на одноместной кровати, закричала, позвала врача. Прибежали и больные из других палат.

– Вы как сюда попали, девушка? – пробурчал доктор, протирая то свои заспанные глаза, то очки.

– Через окно, – показала признательно Фроська.

Медсестра свесилась грудью через подоконник, глянула по сторонам, вверх, осмотрела сквер:

– Лестницы нет.

– Я на корыте прилетела, – продолжала давать показания нарушительница покоя и режима больницы.

Врач тоже выглянул в окно: высоко, третий этаж. Но можно ведь опуститься на веревке с крыши.



– Зачем рисковали, девушка? Вы могли разбиться. Эх, зелено-молодо!

– Я прилетела на корыте, – оправдывалась Фроська.

– Можно и корыто спустить с крыши на веревках, голь на выдумки хитра.

Старичок из соседней палаты возмущался:

– Ну и молодежь пошла! Для чего мы революцию делали? Полная деградация, зарубежное влияние, буржуазная безнравственность!

Раздавались и другие выкрики:

– А его в отдельной палате поместили!

– Оторвался от народа.

– Он и в столовую не ходит, брезгует супом, сваренным для рабочего класса и больных ударников.

– Книжки читает, глядишь – и наденет шляпу, очки...

– Трусы-то, шлюха, подбери! Разостлала их, вишь, на полу, быко политическу карту мира.

Медсестра выговаривала Порошину:

– Мы вас за серьезное начальство принимали, за руководство ответственное из НКВД.

А вы кем оказались?

Порошин молчал. А больные из других палат все так же толпились у дверей, хихикали мерзко.

– О безобразии мы сообщим по месту службы, работы, – подвел итоги дежурный врач.

Кончилось все тем, что Фроську выпроводили, сунув ей в руки панталоны императрицы. А к обеду и Аркадия Ивановича выписали из больницы за грубое нарушение режима. Гейнеман и Трубочист ухотались до слез, слушая серьезный рассказ Порошина о своем несчастье. О чрезвычайном происшествии стало известно и в горкоме партии. Новый секретарь Рафаэль Хитаров отшутился:

– Любовь неподсудна!

Предложение об увольнении горкомовской буфетчицы за моральное разложение он отклонил. Мол, на качество приготовления пищи это не повлияет. В НКВД недостойное поведение Порошина обсудили на объединенном собрании коммунистов и комсомольцев. Младшие лейтенанты Бурдин, Двойников, Степанов потребовали изгнания развратника из органов милиции. Пушкин и Груздев сказали, что можно обойтись строгим выговором. Придорогин посоветовал ограничиться выговором без занесения в учетную карточку. Мнение начальства – закон для подчиненного. На этом и определились. На Порошина после этого посыпались доносы. Был сигнал, будто он совратил, кроме горкомовской буфетчицы, еще двух девушек: Партину Ухватову и какую-то Верочку Телегину, а также развратничал со своими осведомительницами – Жулешковой и Лещинской...

Придорогину нравился Порошин. Начальник НКВД отправил его на полгода в командировку, чтобы утихли страсти. По запросу во Владивостоке требовались опытные и не очень примелькавшиеся оперативники. Контрабандисты там наладили вывоз золота в зарубежье. Из Москвы в Челябинск поступило распоряжение: выделить в помощь дальневосточникам двух лучших сыщиков. Сбагрявая Порошина, хитрый Придорогин надеялся прихлестнуть за Фроськой, склонить ее к сожительству. Глаз у него лег на девку. А своя жена осточертела – мослатая, лицо лошадиное, скандальная, противная. Не баба, а коровья смерть. Поэтому и мысли копошились такие:

– Зачем я женился на этой чувырле? А горкомовская буфетчица оказалась штучкой! Невинную девицу разыгрывала... А в страсти на третий этаж вскарабкалась! Загляну-ка я к ней как-нибудь вечером в хату – с подарками, с бутылкой вина.

## Цветь двенадцатая

Федор Иванович Голубицкий – начальник обжимного цеха – был членом горкома партии, поэтому изредка выполнял партийные поручения. Новый секретарь окружкома Рафаэль Хитаров попросил его разобраться с письмом секретаря партийной организации автопарка – Маркина. Правда, письмо было адресовано не горкому партии, а НКВД. Парторг Маркин сообщал, что начальник автохозяйства бывший эсер Андрей Иванович Сулимов является врагом народа, группирует вокруг себя махновцев, готовит антисоветское восстание. Начальник НКВД направил письмо Маркина в горком партии не просто так... Придорогину хотелось испытать ново-явленного партийного лидера – Хитарова. Как он среагирует? Какие примет меры? Неужели, как и Ломинадзе, Завенягин, будет прикрывать и защищать тех, кого надо арестовывать без раздумья?

Рафаэль Хитаров был личностью известной в стране и даже знаменитой. Ему, армянину, пришлось бежать в годы Гражданской войны от грузинских меньшевиков в Германию. Там он участвовал в революционном движении шахтеров. Позднее Хитаров работал в КИМе, направлялся в Китай, перед приездом в Магнитку возглавлял партийную организацию Кузнецка. Рафаэль Мовсесович знал несколько иностранных языков, был блистательным оратором, обладал даром журналиста, литератора. Вся иностранная диаспора в Магнитке, коммунисты Германии, Польши, Бельгии, Франции, хорошо знали Хитарова. А их, коммунистов-иностранцев, в это время загоняли в концлагеря сотнями и тысячами, подозревая в шпионаже и вредительстве. Хитаров свалился, как спаситель с неба. Он приглашал Придорогина в горком и требовал:

– Немедленно освободите Курта, он настоящий коммунист, я знаю его по Руру. Ручаюсь за него!

Освободите – Курта, Мишеля, Вильгельма, Фридриха, Христофора! Господи! Придорогин и сам понимал, что все эти Мишели и Христофоры – не шпионы. Но кого брать вместо них? Петровых, Ивановых, Кузнецовых? Нет, Ломинадзе был гораздо лучше. Он не осмеливался звонить Ягоде. А этот нахальный армяшка вообще распоясался: кричит в телефонную трубку на всю страну, обвиняя НКВД. Придорогин лично слышал:

– Генрих, привет! Помоги по дружбе. У тебя тут начальник НКВД – дурак! Он арестовывает испытанных коммунистов!

Ягода отвечал уклончиво, но иногда принимал сторону Хитарова. И приходилось освобождать этих иностранцев – Куртов и Фридрихов, а вместо них брать Сидоровых и Ахметзяновых. Хитаров не чуял основной линии партии, государства – на усиление борьбы с врагами народа.

– Спорим на две бутылки, что Хитаров сообщник вредителей, – говорил прокурор Соронин начальнику НКВД.

Придорогин от пари воздержался. Он решил проверить Хитарова на сигнале парторга Маркина с автобазы, хотя не было никакого смысла проверять факты. Девяносто процентов из состава шоферов в автоколонне были спецпереселенцами, бывшими махновцами, эсерами. Поразительно, что на это никто не обратил внимания раньше. А если на каждый грузовик установить по пулемету, то получаютс я автотачанки похлеще махновских. Один пулемет уже найден. Выяснилось и связующее обстоятельство: начальник автобазы Андрей Иванович Сулимов бывал иногда в гостях у старика Меркульева, который спрятал пулемет в гробу. Меркульев пока еще не пойман, в бегах. Сулимов с ним бражничал. Сулимов – тип ущербный. В годы революции служил в бронеотряде левых эсеров, воевал на стороне красных, перешел в партию большевиков. Но и в большевиках продержался не так долго, был исключен из партии за великодержавный шовинизм: протестовал против передачи Башкирии города Белорецка. В партию Сулимов был принят вновь в 1928 году. Кабаков и направил его первым к Магнитной горе,

чтобы он организовал питание и жилье для первостроителей. В общем магнитогорец № 1, так его называют. Но для чего же он сконцентрировал на автобазе махновцев?

Хитаров пообещал Придорогину:

– Разберемся, направим в автохозяйство комиссию, которую возглавит честный коммунист, умный человек.

– Кто это будет? – попытался уточнить сразу начальник НКВД.

– Голубицкий.

Придорогин не любил Голубицкого по трем причинам. Во-первых, он был свидетелем пьяной стрельбы на кладбище по суслику, по крестам. Во-вторых, у него была очень уж красивая жена. Даже более прекрасная, чем у Пушкина. Это унижало начальника милиции. И, в-третьих, самое главное: Голубицкого премировали легковой машиной эмкой. Придорогин ездил на развалюхе, чихающей и дымящей, бренчащей, как связка ржавых консервных банок. А какой-то жалкий технарь Голубицкий красовался по городу, будто миллионер. Если бы Голубицкого удалось арестовать, то машину можно было бы реквизиовать для НКВД. Но доносы на Голубицкого не подтверждались. И за спиной этого удачливого и счастливого человека стояли слишком крупные фигуры – Завенягин, Орджоникидзе.

Голубицкий принял партийное поручение с неохотой, но отчет написал обстоятельный, объективный. Сулимов действительно формировал кадры автобазы по личным симпатиям к бывшим эсерам.

– А махновцы, што ли, не люди? – ерошился Сулимов.

Однако связь Андрея Ивановича Сулимова с местным казачеством не подтвердилась, Сулимов не любил казаков, считал их врагами советской власти. И первого же казака, у которого поселился еще в 1929 году, отправил в тюрьму, конфисковав у него оговором усадьбу и дом.

Секретарь партийной организации Маркин был злобным человеком, ни к чему не пригодным. В годы Гражданской войны он мародерствовал, был одно время в карательном отряде Самуила Цвиллинга, расстреливал оренбургских казаков, позднее потрошил нэпманов, раскулачивал крестьян, отличился в разоблачении троцкистов. Последние заслуги, однако, ценились весьма высоко. Охарактеризовать биографию Маркина отрицательно Голубицкий не решился. Он и сам был активным разоблачителем троцкистов.

Вожак магнитогорского комсомола Лева Рудницкий был в составе комиссии, которая проверяла автобазу. Рудницкий и Калмыков не присоединились к выводам председателя комиссии. В противовес Голубицкому они пришли к решению, что положением дел в автохозяйстве должен заниматься не горком партии, а НКВД. Хитарову пришлось согласиться с этим предложением. Он еще не знал хорошо ни города, ни людей. Единственным близким ему человеком из руководителей был Авраамий Завенягин, который находился в отъезде. Прокурор Соронин и начальник НКВД Придорогин начали арестовывать шоферов, слесарей, работников автобазы. Маркин обличал на очных ставках Сулимова, заведующего кабинетом кадров, начальников гаражей и мастерских. Махновцы держались на допросах стойко, отвечали следователям дерзко, с грубоватым народным юмором. Груздев спрашивал:

– Грицько, ты кем был в банде Махно?

– Конюхом.

– Мы заглянем в твоё бандитское прошлое.

– Загляни мне у сраку, гражданин следователь.

В тюрьме махновцы сидели в разных камерах, небольшими группами; но непостижимыми путями поддерживали связь, сговаривались. Удался у них и сговор погубить Маркина. В один из дней они вдруг начали признаваться, что главным их вожаком был не Сулимов, а Маркин. Выездная военная коллегия разбираться не стала. Маркина арестовали и расстреляли вместе с махновцами. Сулимову дали десять лет.

У Придорогина в штате НКВД было всего 55–60 человек, им помогали 30 бригадмилыцев, а в трудные дни подключались и бойцы пожарной части, и охрана исправительно-трудовой колонии Гейнемана, и тюремные надзиратели, часовые. При чрезвычайных обстоятельствах под ружье можно было поставить около 300 человек. А население в городе – 200 тысяч. Пять сотен осведомителей в расчет не брались. По распоряжению Ягоды огнестрельное оружие у бригадмилыцев было изъято. Однако сексоты и бригадмилыцы были надежной опорой и без револьверов. Они ходили по пивнушкам, базарным толкучкам, стояли с народом в очередях за хлебом и ситцем, прислушивались к разговорам, легко входили в доверие к разным бродягам. Сексот Махнев выследил белого офицера. Разенков нашел антисоветчика Монаха. Студентка Лещинская изобличила группу молодежи, настроенную антисемитски.

Через полгода после ликвидации махновцев в городе отличился заведующий вошебойкой имени Розы Люксембург – Мордехай Шмель. Он изобрел аппарат по уничтожению паразитирующих насекомых, весьма эффективный и простой по конструкции. В столитровую железную бочку заливалось ведро воды, затем туда опускались решетки с лапками. На решетки Шмель раскладывал вшивое белье и одежду рабочих. Бочка закрывалась крышкой, под ее дном разводился костер. Передвижная вошебойка Шмеля была внедрена во всех концлагерях, а изобретатель получил премию и благодарственную грамоту за личной подписью начальника ГУЛАГа Матвея Бермана.

В порядке шефской помощи сельским труженикам, а также для стирания грани между городом и деревней Шмель выезжал со своим аппаратом в казачьи станицы. Голод и тиф косили людей на всем великом пространстве России, поэтому вошебойка Шмеля действительно приносила пользу.

Но поездки сексота по деревням и казачьим станицам имели и другую цель. Шмель умело выявлял мужиков и баб, которые были недовольны колхозами и советской властью. На площади станицы Анненской, когда собралась толпа, Шмель развел огонь под бочкой и обратился к народу с речью:

– Дорогие товарищи! Не победив кровососущих паразитов, мы не одолеем мировую буржуазию, не перегоним Америку. На данный политический момент главными врагами социализма являются троцкисты и вши. Но социализм овладел умами миллионов людей, и он непобедим!

При этих словах Шмель заметил в толпе седые усы старика Меркульева. Вот где он скрывается! Живет в Анненской, наслаждается ароматом соснового бора, а мы его ищем по всей стране. Надо вести себя осторожнее, дабы не спугнуть контру. И кто знает, сколько у него спрятано еще пулеметов, маузеров? Одно дело, когда тебя побьют и сбросят в яму с калом. Другое – когда подойдут и выстрелят в упор. Лучше уж уйти...

– Где у вас туалет? – спросил Шмель у стоящей рядом бабы, притворно хватаясь за живот.

– Какой тавулет? Клуб, што ли? – не поняла баба.

– Не клуб, а сортир, уборная. Живот у меня что-то заболел, понимаешь? Понос!

– Как не понимать? Меня самое понош намедни прошиб с лебеды.

– Ты, глупая баба, не рассказывай мне про свой понос, а скажи, где сортир?

– Сратир вота, рядом, супротив сельсовета.

В селах и даже районных городках туалеты в те времена не строили, обходились без них – зарослями конопли, прикрытием плетней. Но Анненская станица была, стала при советской власти и железнодорожной станцией. В ознаменование 15-летия революции здесь поставили общественную уборную. Шмель заметил, что старик Меркульев проталкивается через толпу к вошебойке. Вот сейчас он пробьется, подойдет и выстрелит в упор. За пазухой у него что-то спрятано, оттопыривается. Конечно же, это маузер! Никакого сомнения быть не могло. Надвигалась неминуемая гибель. Какая глупая смерть! А в толпе не было представителей сельсовета, не было милиционера. Куда же бежать? Лучше всего – в туалет!

– Ой, живот болит! – пролепетал еще раз сексот и засеменил к дощатой, горбылястой уборной, где на одной двери было выведено суриком «К», а на другой «Б». Шмель как человек культурный остановился в растерянности: «К» означало – «казакам», буква «Б» – бабам. Но городской человек не мог расшифровать это «КБ». Вариантов было слишком уж много: коммунистам – беспартийным, крестьянам – барышням, командированным – безбожникам, конструкторское бюро...

– Дикари! – ругнулся Шмель, заскочив за дверь с буквой «К», ибо возле нее было больше окурков.

Он закрыл дверь хилым проволочным крючком, выглянул через щель в горбылях на станичную площадь. Грозный старик Меркульев вышел из толпы и зашагал по-медвежьему к сортиру. Уйти от преследователя не было никакой возможности. Сейчас он сорвет проволочный крючок, откроет дверь уборной и начнет стрелять. Потом сбросит глумливо окровавленный труп в отхожую яму. Какой ужас! Неужели это судьба? Как же спастись? А если самому спрыгнуть в эту яму с калом и дождевыми стоками? А выбраться через женское отделение с буквой «Б»? Пока убийца разберется, можно ведь и убежать.

Обреченный протиснулся ногами вниз через «очко», обмакнулся по пояс в зловонное месиво, повис на руках. Железный проволочный крючок отлетел с петли в резком рывке. Дверь сортира открылась. Террорист вошел, чтобы прикончить здесь свою жертву. Шмель разжал пальцы, скользнул вниз, но яма, к счастью, оказалась мелкой, по горло.

– Слава богу! – подумал преследуемый, торопливо двигаясь к женской половине.

Он подпрыгнул, ухватился за склизкие доски, но увидел перед собой голый, дряблый зад старухи. Проклятая старуха окатила Шмеля напористой струей поноса, залепила ему глаза, да еще и завопила блажно, выскочив из уборной. В этом происшествии никто не мог понять ничего. Старик Меркульев был подслеповат, Шмеля он не узнал, убивать его вовсе не собирався. В уборную Меркульев зашел по малой нужде. Сердобольные люди отвели выскочившего из сортира горожанина к пруду. Ну, приключилась беда, упал человек в яму с говном. С кем не бывает неприятностей?

Шмель уехал в Магнитку с первым товарняком, бросив свою вошебойку в Анненске. Сержант Матафонов не пропустил сексота к начальству:

– Ты што? Тебе, кажись, ндравится нырять в дерьму. Подь сначала в баню, одень нову одежду, надеколонься.

Мордехай бушевал:

– Но мы упустим врага народа! Надо срочно окружить станцию Анненскую. Я там обнаружил Меркульева.

– Ну и хорошо, приходи завтра, расскажешь...

Придорогин никак не мог поверить в то, о чем ему доложили. Шмеля он допросил лично, открыв окно, вытащив пистолет...

– Поведай снова, подробно.

– Я приехал в Анненскую демонстрировать передвижную вошебойку.

– Про вошебойку не надо, – погладил ствол револьвера Придорогин.

– В толпе я увидел Меркульева с маузером за пазухой.

– Почему полагаешь, что с маузером?

– Там оттопыривалось, товарищ начальник.

– Валяй дальше.

– Меркульев пошел на меня через народ, убивать. Я спрятался в уборной, закрылся на крючок. Он сорвал дверь с крючка, ударил меня чем-то по голове, сбросил в жижу экскрементов.

– Значит, он узнал тебя?

– Не могу ответить.

– Если узнал, если правда то, что ты говоришь, то его, Меркульева, в Анненской уже нет. Придорогин выпроводил Шмеля, пригласил Бурдина и Степанова:

– Кажется мне, что наш сексот подкидывает дезу, врет. Голова у него целая, никто его не бил. Если бы Меркульев задумал его уничтожить, он бы его прибил или прирезал.

– Что же произошло? – спросил Степанов.

– Возможно, ничего не происходило. Шмель с перепугу забежал в сортир. А туда же понадобилось и Меркульеву. Наш сексот от страха нырнул в отхожую яму. Срочно выезжайте в Анненск. Меркульев приметен, там легко будет выяснить, у кого он квартировал.

Степанов привез Меркульева на следующий день к вечеру, закованного в наручники. Оказывается, беглец и не прятался особо, жил на Курочкином кордоне. Посыл о его розыске в Анненск не поступал. В списках – тысячи фамилий. Как же в них не запутаться? Сразу после побега дед Меркульев жил в Чесме, у своего дружка, старого казака Андрея Щелокова. Затем устранился розыска, уехал далеко, в станицу Зверинку, где приютился у Кузьмы. Но тянуло его поближе к дому – перебрался в Шумиху, к Яковлевым. А к лету совсем затосковал Меркульев, приехал в Анненск, здесь дом родной совсем рядом, на поезде три-четыре часа. Фроська стала его навещать. Но не говорил об этом на допросах старик Меркульев.

Придорогин, Пушкин и Степанов пытали деда втроем:

– Где взял пулемет, хрыч?

– Пулемет всегда был моим, с Гражданской войны.

– Почему не сдал вовремя, по закону?

– Так ить жалко было. Оставил на всякий случай.

– А маузер?

– Маузер мне подарил лично товарищ Блюхер.

– А шашка?

– Шашка еще с Брусиловского прорыва, памятная.

– Что было еще в гробу?

– Ящики с патронами, винт, горшок со червонцами царскими и монетами ненашенскими, басурманскими.

Придорогин вскочил, схватил Меркульева за грудки:

– Врешь, не было в гробу горшка!

– Был горшок, глиняный. Старуха моя золотишко утаивала.

– А где твоя старуха? Где труп ееный? – сунул ствол револьвера Придорогин к седым усам Меркульева.

– Убери свою дуру, не пужай, беседуй уважительно. А то замолчу. Мы не из пугливых.

– Говори, где труп старухи?

– Нету трупы.

– Утопил или сжег!

– Старуха моя ведьмовала. Потому извиняйте. Ничаво не можно ответствовать. Она приспособлена и вороной улететь, и черной кошкой обернуться. Я к тому не причастен. Мабуть умерла моя старуха. А мабуть упорхнула на свой шабаш.

– Ты нам лапшу на уши не вешай, хрыч.

– Я истину вещаю.

– Кто с тобой в одной шайке состоит, в одной организации?

– Шайки нету, я один, сам по себе.

– У тебя дома, в гостях, бывали Завенягин и Ломинадзе?

– Хороших человек мы привечаем.

– Ломинадзе был врагом народа, он ведь застрелился, чтобы уйти от суда, от возмездия.

– Не ведаю, бог ему судья.

– Ломинадзе высказывался против советской власти, против товарища Сталина?

- Против советской власти в молчании был.
- А против Сталина?
- Кой-што проглядывало.
- Конкретно что?
- Кункретно у меня в хате висел патрет Виссарионыча...
- Что Ломинадзе сказал о портрете?
- Ничаво не сказамши, плюнумши. Но был выпимши.
- Он плюнул в лицо, в портрет товарища Сталина?
- Ну и чо? Патрет был в рамке, под стеклом.
- Завенягин видел, как Ломинадзе плевал на товарища Сталина?
- Видемши.
- Он смотрел с одобрением?
- Завенягин дураком назвамши.
- Завенягин назвал товарища Сталина дураком?
- Завенягин дураком назвамши Ломинадзю.

Придорогин прервал допрос, отправил старика Меркульева к Бурдину и Степанову. У них арестованные признавались во всем. Лейтенант Бурдин не занимался примитивным мордобоем и костоломством. Он раздевал арестованных догола и подвешивал их за ноги к подвальной балке, вниз головой. А руки за спиной – в наручниках. Более беззащитного положения не придумать. Несколько ударов палкой или метровой утолщенной линейкой в междуножье – и субъект начинал сипеть, подписывал любой протокол.

Начальник НКВД передал Меркульева для дальнейшего допроса, чтобы освободиться от суеты, подумать о горшке с царскими червонцами. Недавно был составлен акт о находке золотого клада на кладбище Трубочистом. Кто же извлек золото из гроба? Да, при вскрытии могилы это могли сделать Шмель и Функ. Один сразу признался, что открыл гроб. Другой притворился спящим. Они вполне могли украсть из гроба горшок с червонцами и перепрятать его. Похитителям не так уж трудно было вовлечь в свое преступное дело Трубочиста. Часть ценностей они присвоили, остатки сдали как находку. Не случайно, значит, видели осведомители в ресторане несколько раз за одним столиком доктора Функа и Трубочиста.

Старик Меркульев не считал себя безвинным. За пулемет и золото он заслуживал высшей меры наказания. Но не хотел дед тащить за собой в могилу других. А лейтенант Бурдин добивался именно этого.

– Признавайся, Меркульев, тогда, в Анненской ты сбросил в отстойник уборной бригады Шмеля?

– Ежли потребно списать преступ, вали на меня, я подпишу. Но ить я и пальцем не тронул вашего бригадмилыца. Да мне вышка, вешай на меня, сынок, всех собак.

– Не трогал, говоришь? Человек вот взял, безо всякой причины, прыгнул в яму с дерьмом сам. Может быть такое?

– Такое быть не может, сынок.

– Значит, ты его в яму с говном сбросил?

– Пиши, што толкнул.

– Я записал, а ты распишись, дед.

Меркульев расписался коряво, выводя каждую букровку. Лейтенант спрятал протокол, достал новый лист бумаги.

– А теперь, Меркульев, подпиши, сознайся, как ты участвовал в таком же преступлении прошлой осенью. Почерк преступления – один. Трех бригадмилыцев – Шмеля, Махнева и Разенкова – вы зверски избили и сбросили в отстойник сторовшего туалета. Тебе же без разницы, так и так расстреляют, подписывай.

Дед Меркульев как бы закашлялся, время выигрывал для раздумья. Вот, мол, подпишу бумажку. А што дале? Начнут они пытаться – кто помогал убивать сиксотов. И придется тогда же выдать Гришку Коровина, Антоху Телегина, Борьку Кривошекова, Фроську...

– Не подпишу, – отодвинул протокол допроса Меркульев.

– Почему, дед?

– Не участвовал, сынок.

– Как тебе не стыдно, дед? А еще в Красной армии воевал. Предал ты славного товарища Блюхера. Советскую власть предал. С бандитами связался, пулемет прятал, крест на шею повесил.

– В Бога я завсегда верил. Но грешен, тайлся верой. С волками жить – по-волчьи выть. Кривил я душой, выдавал себя за богохульника. Вот Бог меня и наказал.

– Подпиши, дед, хотя бы что-нибудь про пулемет... Мол, хотел расстрелять товарищей Ворошилова и Орджоникидзе, когда они приезжали в Магнитку.

– Мысля озорная попужать стрельбой была...

– Вот видишь: был замысел! Руки-то чесались? Кто еще из твоих знакомых думал примерно так?

Для начальника НКВД Придорогина, лейтенанта Бурдина не так уж важно было, что старик не выдает двух-трех сообщников. Под найденный в гробу пулемет требовалось раскрыть крупную контрреволюционную организацию. Не три-четыре человека, а как минимум сотню! Не так уж часто попадают в руки НКВД пулеметы, склады с оружием. Под этот пулемет могли посыпаться ордена, повышение по службе, слава. Сам Генрих Ягода снова звонил Придорогину, требовал раскрытия заговора. Но старик Меркульев молчал. Его подвешивали за ноги в подвале милиции, оборвали плоскогубцами усы, поджарили паяльной лампой нос, переломали ключицы, выткнули раскаленным шилом левый глаз.

– Никого не потяну за собой в могилу, зазря мельтешитесь, – хрипел упрямый дед, отхаркиваясь кровью.

На одном из допросов старик изловчился и раздробил сержанту Матафонову челюсть. Меркульева бы убили, но Придорогин не разрешил:

– Нет, отойдите от него. Отправьте в тюремный лазарет. Подлечим и снова начнем допрашивать. Должен заговорить старый хрыч. А смерть для него – счастье, избавление от мук. С легкостью такого подарка не получит он. Крепкий орешек, но потребно расколоть. Старик даже не выдал, где скрывался после побега.

Придорогин дал указание взять Фроську Меркульеву. Но прокурор Соронин не подписал ордер на арест. Секретарь горкома партии Хитаров просил представить обоснования, факты, компрометирующие буфетчицу. Прокурору не хотелось портить отношения с новым секретарем горкома. Кто знает, куда продвинется этот знаменитый армянин. У него связи в Москве, дружба с Микояном, международный авторитет, вхож с легкостью к самому Сталину. Рафаэль Хитаров – это не какой-то там опальный, навроде Ломинадзе, с ним надо держать ухо востро. Кончит он плохо, но пока – на белом коне.

Получал Придорогин и приятные известия. Позвонили из Москвы, поблагодарили за то, что командировал на Дальний Восток хорошего сыщика. Порошин раскрыл и ликвидировал в Хабаровске и Владивостоке организацию контрабандистов, конфисковал четыре пуда золота. Порошина представили к ордену Красной Звезды, запросили характеристику. Придорогин не был завистливым, ответил искренне:

– Порошин – мой ученик. Есть у него слабость к девкам. Но ведь молодой. Вы верните мне Аркашу. Не вздумайте у себя оставить. У меня здесь работы по горло. А кадров нет, запурхались.

Через три месяца после известия о награждении Порошина боевым орденом Красного Знамени пришла телеграмма:



«Был тяжело ранен в стычке с хунхузами. Лечусь в Ялте, выздоравливаю. Скоро вернусь в Магнитку. Почему Фрося не отвечает на письма? Сообщите, что с ней?

*С боевым приветом – Порошин».*

Письма Аркадия Ивановича, адресованные Фроське, лежали в сейфе Придорогина. Запросы Фроськи о своем женихе из Москвы высылали тоже Придорогину. Командировка Порошина на Дальний Восток была секретной, и Фроське по всем инструкциям знать об этом не полагалось. Но работа завершена... Придорогин решил отдать порошинские письма по назначению – Фроське. Он собрал их в стопку, перевязал тесемкой, сунул в планшет. Был уже поздний вечер.

– Заеду на машине, навещу девку, отдам письма, – нажал начальник милиции на кнопку сигнала, вызывая дежурного по горотделу.

Но выехать не удалось. Машина-развалюха не заводилась. Что только с ней не делали? И крутили бешено заводной рукояткой, и толкали с горки, и разбирали карбюратор. Придорогин, чертыхаясь, побрел к паромной переправе. Фроська из общежития выписалась, проживала в своем доме, в казачьей станице, которая находилась в черте города. Голубицкий, проезжая мимо, остановил свою автомашину:

- Алексан Николаич, садись, подвезу!
- Я не домой. Мне по делам, на тот берег, в станицу.
- Ну, извини, – захлопнул дверцу новенького автомобиля Голубицкий.
- Чтоб у тебя колесо лопнуло, – раздраженно плюнул начальник милиции.

Однако колдовским даром он явно не обладал. Автомобиль Голубицкого укатил за поворот в полной исправности. Придорогин не мог объяснить для себя, почему он пошел на ночь глядя к девице Ефросинье Меркулевой? И оправдывался для себя тем, что надо все-таки передать письма, да и подозрения кой-какие имеются. Подозрения – не связанные с ее дедом. Телеграмма от Порошина из Ялты поступила сегодня. Никто в Магнитке не знал о его ранении. Каким же образом Фроська проведала о том, чего не знал даже он, начальник милиции? Две недели тому назад она приходила на прием к Пушкину, просила разрешение на продуктовые передачи в тюрьму, для деда. Такое позволение ей не дали, и она раскричалась:

- Все у меня отобрали! Изверги! Деду глаз выжгли, суженого пулей проткнули!

Придорогин вышел из кабинета:

– Кто тебе сказал, что твой суженый пулей пробит? Его орденом наградили, дура. Он, может, в Москве сейчас товарищу Калинину руку пожимает...

Фроська заскулила тогда:

- У моря он лежит, ранетый, пулей пробитый.
- Откуда у тебя эти данные?
- Гадание показало.
- На чем ворожила, на бобах али на кофейной гуще?
- На огне колдовала.
- Обманул тебя огонь. И пора избавляться от предрассудков.

А теперь оказалось, что Фроська права. Ворожбу ее всерьез принять нельзя. Но как могла узнать эта рыжая стерва о ранении Порошина? Кто ей сообщил, что он лечится в Ялте, у моря? Если она связана с преступным миром, знала все время о местонахождении оперативника, то тогда и тяжелое ранение его может быть не случайным, а по наводке или болтливости девицы. Все это надо проверить, нельзя терять бдительности.

Мысли эти вселили уверенность в начальника милиции, и он зашагал бодрее к паромной переправе. Ходить по городу ночью в одиночку он не боялся. Много можно увидеть интересного. Вот и сейчас – первым встретился нищий Ленин. Он тащил, крадучись, бревно на плече.

Такая уж у него мания: бревна ворует. Мимо прошел со своей невестой Леночкой подручный сталевара Григорий Коровин. Вроде хороший парень: Порошин его подстрелил нечаянно, а он даже не жалуется.

После переправы на правый берег реки Придорогин несколько растерялся, ночная темь стерла прежние ориентиры, он не знал, как пройти к дому Меркульевых. В сумерках раздался выстрел, в небо взлетела осветительная ракета. Она описала дугу и упала с шипением в огород, мимо которого проходил начальник НКВД. Все было ясно. Недавно на аэродроме похитили ракетницу. Скорее всего, это дело рук озорника Гераськи Ермошкина. Балуются подростки. Только они могут додуматься: вскрыть картонный патрон, убавить пороховой заряд, чтобы осветительная ракета не взлетала высоко, не сгорала полностью в воздухе, а падала на землю. Так вот они, мальчишки, во всех городах обстреливают вечерние танцплощадки из украденных ракетниц. Падают осветительная ракета в толпу танцующих – и сколько визгу, крику! Но ведь опасно озорство это, ожоги могут получить люди, пожар может возникнуть.

Придорогин совсем заплутался между избами и огородными плетнями. Но встретил двух девочек-хохотушек, обратился к ним за помощью:

- Доченька, как мне пройти к дому Меркульевых?
- А мы проводим вас, дяденька.
- Спасибо, милые. Как вас зовут?
- Груня Ермошкина.
- Вера Телегина.
- А я Придорогин Алексан Николаич, начальник НКВД.
- Вы Фросю заарестуете?
- Нет, я письма ей несусь от жениха.
- Я знаю его, – похвасталась Верочка Телегина. – Я ему пельмени приносила в больницу.

В доме Меркульевых светились два горничных окна, на этажерке горела ярко керосиновая десятилинейка. За шторкой проплыла тень. Девочки – Груня Ермошкина и Верочка Телегина – хихикнули и ушли в темноту. Придорогин вытащил из кобуры револьвер, стукнул легонько стволом в створку.

- Кто там? – расплющила Фроська нос о стекло окна.
- Открой дверь, Фрося. Это я, Придорогин, начальник НКВД.

Фроська прогремела засовом в сенях, открыла дверь, вышла на крыльцо, кутаясь в белую шаль.

- Добрый вечер, Сан Николаич. С чем пожаловали?
- С радостью для тебя.
- Письмо от Аркаши принесли?
- Не одно письмо, а несколько писем. А ты откуда об этом проведала?
- Поколдовала.
- Не морочь мне голову, Фроська. Бери письма, читай, радуйся. Да не обижайся, что вскрыты. У меня служба такая.

- Спасибо, Сан Николаевич. Нет у меня к вам обиды. Спасибо!
- Из твоего спасибо шубу не сошьешь, спасибом чарку не наполнишь.
- К моему спасибо будет и приложение, Сан Николаич.

Летняя ночная темь благоухала цветущей сиренью, медуницей и горькой полынькой. С огорода сквозило мятой и терпким запахом конопли, остывающим угаром бани.

- Баню, что ли, истопила? – присел на крыльцо Придорогин.
- Вестимо, баню.
- Вот бы попариться, Фрось.
- Каменка не остыла, вода в баке есть, попрейте.
- А веник заваренный есть?

- И веник в бадье томится.
- Так я с твоего позволения потешусь?
- Абы не угорели.
- А спину мне кто потрет?
- Спину черт поскоблит.

Придорогин чиркнул спичкой в предбаннике, зажег огарок свечи, разделся. Ни крючка, ни засова у дверей в предбаннике не было. Куда же девать оружие? Пришлось завернуть револьвер в брюки, сунуть сверток в пустое ведро. С этим ведром и пошел Придорогин париться, захватив огарок зажженной свечи. Он зачерпнул ковшом из котла горячую воду, плеснул на каменку. Настоящий любитель и знаток бани не плещет на раскаленные камни горячую воду, от нее пар затхлый. Но Придорогин в этих тонкостях не разбирался. Зашумела каменка, ошпарила, запекла. После второго ковша любитель бани взял березовый веник, залез на полок. Он стонал от радости и ожогов, пронизывающего жара, банного аромата веника и сосновых досок. Придорогин пекся и потел с полчаса, у него потемнело в глазах. Он сполз на мокрый и прохладный пол, теряя сознание. И все же успел увидеть, как из-под плахи полка вылез волосатый чертенок. Может, с угару привиделся. Чертенок намылил вехотку-мочалку, уселся на задницу Придорогина, начал тереть ему спину.

– Как бы он у меня револьвер не стибрил, – подумал Александр Николаевич, хватаясь за ведро, где лежало оружие.

- Не нужен мне твой наган, – ударил чертенок Придорогина мочалкой по щеке.
- Кто тебя знает...

– Меня хозяйка знает, Фрося. Она и повелела мне спину тебе потереть.

Чертенок окатил Придорогина холодной водой, шлепнул хлестко по заду:

– Выползай, дурень! А то совсем угореешь. Вьюшку-то не открыл, а в топке головешки чадят.

Придорогин выполз на четвереньках в предбанник, отдышался, оделся. Он добрался до крыльца дома, пошатываясь, не мог ничего понять. Значит, угорел. На крыльце Придорогин посидел минут пятнадцать, оклемался вполне. Фроська почуяла его, выглянула:

– Не можно опосля бани на ветру сидеть. Северяк-сквозник и летом коварен, застуду таит. Заходите, Сан Николаич. Я ить стол накрыла, самогончик со льда из погреба вынесла, грибки, огурчики.

Придорогин сглотнул слюну:

- А квас у тебя, Фрося, есть? Горит в нутре, пить охота.
- И квас у меня есть клюквенный.
- Угорел я, Фрося. Но баня хорошая, блаженство!

Александр Николаевич вошел в избу, выпил кринку ершистого холодного кваса, присел на лавку у стола, под разоренной, пустой божничкой. Фроська налила ему в стакан мутной, сизовой, но крепкой самогонки, подвинула миски с грибами, огурцами, вареной картошкой, хлебом.

– Кролик в жаровне, еще не приспел, румянится в печке, – громыхнула хозяйка заслонкой о шесток.

Придорогин чувствовал себя неловко, не знал, о чем говорить, но после стакана первача чуточку осмелел.

- У нас в НКВД, Ефросинья, подозрение на тебя возникло.
- В чем же меня опять сподозрили?
- Не знаю, как и начать, подозрений много.
- Выкладывайте, Сан Николаич.
- Ответь вот, как и где прознала ты, что Аркашка твой пулей пробит, в Ялте лечится?
- В какой-такой Ялте?

- У моря.
- Про море и пулю ведаю из ворожбы, про Ялту слышу впервой.
- Мы в колдовство и нечистые силы не верим, Фрося.
- А кто вам спину тер в бане?
- В бане я угорел, мне показалось. Лучше скажи, с кем ты держишь тайную связь?
- С бабкой, Сан Николаич.
- С какой бабкой? Которая померла?
- А с какой же еще?
- Где она скрывается? – выпил второй стакан самогону Придорогин.
- В данный момент в горнице, под кроватью.
- Я хочу видеть ее.
- Ваше хотение будет исполнено, Сан Николаич.
- Ты знаешь, кто я? Я немножко начальник НКВД.
- А я маленечко колдунья.
- С тобой не соскучишься, Фроська.
- Пейте, кушайте, – наполнила хозяйка стакан в третий раз.
- Какой у тебя интерес поить и кормить меня?
- Пропуск в тюрьму получу, передачу деду унесу. Получу право на свидание с дедом.
- Накось, выкуси! – показал Придорогин кукиш. – Милиция не продается. Твой самогон я, считай, реквизирует. Ха-ха! И не морочь мне голову. Служба информации у нас работает отлично. А передачи своему деду ты и без меня каждый день переправляешь.
- Через кого?
- Через тюремного водовоза Ахмета и расконвоированного портного Штырцкобера, – одним захватским махом проглотил четвертый стакан самогонки начальник НКВД.
- За окном промелькнула тень – схожая с Трубочистом. Снова кто-то выстрелил из ракетницы. У соседей залаял злобно хрипастый волкодав. Придорогин расстегнул кобуру, предупредил хозяйку:
- Учти, если засада, ловушка, буду стрелять по-революционному, безжалостно, промеж глаз.
- Сан Николаич, смерть вам не угрожает. Вы умрете в Челябинске.
- Меня повысят? Переведут в область?
- Не знаю.
- Меня могут очень повесить. Федоров в Челябинске – мой друг.
- Вы все о делах, о службе, Сан Николаич.
- Я могу и про любовь, интимность, так сказать.
- Я вам нравлюсь? Я красивая?
- Вам все дала партия, советская власть, чтобы красивыми быть.
- Титечки-то мне дал бог, а не партия, не советская власть.
- Титьки и другие места у тебя, Фроська, в приглядности. Разболокайся и ложись со мной в постель. Для того я и прибыл, можно сказать.
- Как вы могли произнести мерзопакость такую? – достала Фроська из-за печки рогач.
- Чо ты невинницу-то разыгрываешь? К Порошину-то аж на третий этаж лазила. Ха-ха!
- У нас любовь была.
- И я тебе не мотоцикл предлагаю, Фрось.
- Кролик-то зарумянился, – достала хозяйка жаровню из печки. – Под мясо в чесноке и новый стаканчик прокатится.
- Придорогин пил, ел, но замысла не терял:
- Ты мне зубы не заговаривай, разболокайся, до пролетарской гольности с полным согласием.

Фроська долго отбрыкивалась, хохотала, но в конце концов согласилась:

– Ладнось, идите в горницу на кровать. Раздевайтесь и ложитесь. А я сени закрою, со стола уберу, лампу загашу.

Придорогин разделся до белых кальсон с подвязками, бухнулся на пуховую перину, спрятал револьвер под подушку.

– Хитрит девка! Полагает, будто я изрядно пьян, потому усну. А я не буду спать, подожду.

Хозяйка побренчала чашками, убрала жаровню с половиной оставшегося кролика в печку, погасила керосиновую лампу. Придорогину показалось, что перед ним появилось откуда-то страхолюдное существо, а не Фроська. Очень уж много выпил.

– Я пришла! – раздался шепот.

– Ложись, желанная!

– Не пожалеешь?

– Сиять буду всю жизнь!

Она прилегла рядом, чуть отстранясь, затихла. Придорогин хотел поерошить ласково ее рыжие космы, но наткнулся на что-то склизкое, омерзительное. В носшибануло тошнотворное зловоние. И в этот миг за простенком, где-то на улице прозвучал глухо выстрел из ракетницы. Огненный, брызгающий трескучими искрами шар упал перед самым окном, ярко осветил горницу. Придорогин увидел лежащую рядом мертвую старуху, с проваленными глазницами, струпами, редкими остатками кожи. Он вскочил судорожно с постели, но успел выхватить из-под подушки пистолет. Придорогин разрядил в мертвую бабку всю обойму, закричал и выбросился в окно, выбив раму своим обезумевшим телом.

Какая-то собака кусала его, лаяла, рвала кальсоны. А он перемахнул через заборчик и побежал к реке, держа в руке револьвер. Фроська и чертенок сидели на крыше бани, смотрели, как прыгал через плетни начальник НКВД. Еще одна ракета – и Придорогин достиг причала, бросился в пруд, поплыл. А до другого берега – почти верста. Недавно посеред реки опрокинулся паром, много людей утонуло.

## Цветь тринадцатая

Гриха Коровин надернул суконные рукавицы-вачеги, взял совковую лопату и начал бросать доломит в огненную пасть мартена. В завалочном окне печи буйствовали оранжевые вихри, роба дымилась от адского пекла, искры вылетали из утробы печи – крупные, как пчелы, норовя ужалить, прожечь. Через порог завалочного окна заструился тонкий ручеек жидкого металла. Если разъест порог, металл хлынет на пол, на подъездные пути, загремят взрывы. Гриха поправил порог, возвысил его, оборвал малиновую струйку. Пот катился с лица, рубаха под суконной робой взмокла, пол под ногами закачался. Коровин отбросил лопату, хотел опустить массивную заслонку, но появилась лаборантка Лена. Пришлось черпать металл для пробы.

Лена глядела заворуженно на расплавленное варево в печи, из которого выскакивали то протуберанцы, то темные змеи. Гадюки поднимались прыгуче и стремительно на полметра, изгибались в разные стороны и ныряли в свое красное тяжелое озеро. Гришка закрыл заслонку, снял вачеги, подсоллил в кружке воду и выпил ее жадными глотками.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.